

V. N. Karazin Kharkiv National University
School of Philosophy

STRUCTURALISM AND POSTSTRUCTURALISM

A READER
(fragmented primary sources)

2020

- Ф. де Соссюр** КУРС ОБЩЕЙ ЛИНГВИСТИКИ (1916) (фрагменты)
К. Леви-Строс СТРУКТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ (1958) (фрагменты с купюрами)
Э. Бенвенист ОБЩАЯ ЛИНГВИСТИКА (1966) (фрагменты с купюрами)
Р. Барт СТРУКТУРАЛИЗМ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1963) (с купюрами)
Р. Барт ОТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ К ТЕКСТУ (1971) (с купюрами)
М. Фуко ПОРЯДОК ДИСКУРСА (1970) (с купюрами)
Ж. Делез ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ УЗНАЮТ СТРУКТУРАЛИЗМ? (1967) (с купюрами)
Ж. Деррида СТРУКТУРА, ЗНАК И ИГРА В ДИСКУРСЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК (1966)
(фрагменты с купюрами)

Фердинанд де Соссюр
КУРС ОБЩЕЙ ЛИНГВИСТИКИ (1916) (фрагменты)

Глава III Объект лингвистики

§ 1. Определение языка

Что является целостным и конкретным объектом лингвистики? Вопрос этот исключительно труден, ниже мы увидим, почему. Ограничимся здесь показом этих трудностей.

Другие науки оперируют заранее данными объектами, которые можно рассматривать под различными углами зрения; ничего подобного нет в лингвистике. <.....> В лингвистике объект вовсе не предопределяет точки зрения; напротив, можно сказать, что здесь точка зрения создает самый объект; вместе с тем ничто не говорит нам о том, какой из этих способов рассмотрения данного факта является первичным или более совершенным по сравнению с другими.

Кроме того, какой бы способ мы ни приняли для рассмотрения того или иного явления речевой деятельности, в ней всегда обнаруживаются две стороны, каждая из которых коррелирует с другой и значима лишь благодаря ей. <.....>

У речевой деятельности (*langage*) есть две стороны: индивидуальная и социальная, причем одну нельзя понять без другой.

В каждый данный момент речевая деятельность предполагает и установившуюся систему и эволюцию; в любой момент речевая деятельность есть одновременно и действующее установление (*institution actuelle*) и продукт прошлого. На первый взгляд различие между системой и историей, между тем, что есть, и тем, что было, представляется весьма простым, но в действительности то и другое так тесно связано между собой, что разъединить их весьма затруднительно. <.....>

Итак, с какой бы стороны ни подходить к вопросу, нигде объект не дан нам во всей целостности; всюду мы натываемся на ту же дилемму: либо мы сосредоточиваемся на одной лишь стороне каждой проблемы, тем самым рискуя не уловить присущей ей двусторонность, либо, если мы изучаем явления речевой деятельности одновременно с нескольких точек зрения, объект лингвистики выступает перед нами как груда разнородных, ничем между собою не связанных явлений. <.....>

По нашему мнению, есть только один выход из всех этих затруднений: *надо с самого начала встать на почву языка и считать его основанием (norme) для всех прочих проявлений речевой деятельности.* Действительно, среди множества двусторонних явлений только язык, по-видимому, допускает независимое (*autonome*) определение и дает надежную опору для мысли.

Но что же такое язык? По нашему мнению, понятие языка не совпадает с понятием речевой деятельности вообще; язык – только определенная часть – правда, важнейшая часть – речевой деятельности. Он является социальным продуктом, совокупностью необходимых условий, принятых коллективом, чтобы обеспечить реализацию, функционирование способности к речевой деятельности, существующей у каждого носителя языка. Взятая в целом, речевая деятельность многообразна и разнородна; протекая одновременно в ряде областей, будучи одновременно физической, физиологической и психической, она, помимо того, относится и к сфере индивидуального и к сфере социального; ее нельзя отнести определенно ни к одной категории явлений человеческой жизни, так как неизвестно, каким образом всему этому можно сообщить единство.

В противоположность этому язык представляет собою целостность сам по себе, являясь, таким образом, отправным началом (*principe*) классификации. Отводя ему первое место среди явлений речевой деятельности, мы тем самым вносим естественный порядок в эту совокупность, которая иначе вообще не поддается классификации.

На это выдвинутое нами положение об отправном начале классификации, казалось, можно было бы возразить, утверждая, что осуществление речевой деятельности покоится на способности, присущей нам от природы, тогда как язык есть нечто усвоенное и условное, и

что, следовательно, язык должен занимать подчиненное положение по отношению к природному инстинкту, а не стоять над ним.

Вот что можно ответить на это. Прежде всего, вовсе не доказано, что речевая деятельность в той форме, в какой она проявляется, когда мы говорим, есть нечто вполне естественное, иначе говоря, что наши органы речи предназначены для говорения точно так же, как наши ноги для ходьбы. <.....> Несомненно, такой тезис чересчур абсолютен: язык не есть общественное установление, во всех отношениях подобное прочим... <.....> язык – условность, а какова природа условно избранного знака, совершенно безразлично. Следовательно, вопрос об органах речи – вопрос второстепенный в проблеме речевой деятельности.

Положение это может быть подкреплено путем определения того, что разуметь под членораздельной речью (*langage articule*). По-латыни *articulus* означает «составная часть», «член(ение)»; в отношении речевой деятельности членораздельность может означать либо членение звуковой цепочки на слоги, либо членение цепочки значений на значимые единицы; в этом именно смысле по-немецки и говорят *gegliederte Sprache*. Придерживаясь этого второго определения, можно было бы сказать, что естественной для человека является не речевая деятельность как говорение (*langage parle*), а способность создавать язык, то есть систему дифференцированных знаков, соответствующих дифференцированным понятиям. <.....>

Наконец, в доказательство необходимости начинать изучение речевой деятельности именно с языка можно привести и тот аргумент, что способность (безразлично, естественная она или нет) артикулировать слова осуществляется лишь с помощью орудия, созданного и предоставляемого коллективом. Поэтому нет ничего невероятного в утверждении, что единство в речевую деятельность вносит язык. <.....>

§ 2. Место языка в явлениях речевой деятельности

<.....> Если бы мы были в состоянии охватить сумму всех словесных образов, накопленных у всех индивидов, мы бы коснулись той социальной связи, которая и образует язык. Язык – это клад, практикой речи отлагаемый во всех, кто принадлежит к одному общественному коллективу, это грамматическая система, виртуально существующая у каждого в мозгу, точнее сказать, у целой совокупности индивидов, ибо язык не существует полностью ни в одном из них, он существует в полной мере лишь в коллективе.

Разделяя язык и речь, мы тем самым отделяем: 1) социальное от индивидуального; 2) существенное от побочного и более или менее случайного.

Язык не деятельность (*fonction*) говорящего. Язык – это готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим; он никогда не предполагает преднамеренности и сознательно в нем проводится лишь классифицирующая деятельность, о которой речь будет идти ниже.

Наоборот, **речь есть индивидуальный акт воли и разума**; в этом акте надлежит различать: 1) комбинации, в которых говорящий использует код (*code*) языка с целью выражения своей мысли; 2) психофизический механизм, позволяющий ему объективировать эти комбинации.

Следует заметить, что мы занимаемся определением предметов, а не слов; поэтому установленные нами различия ничуть не страдают от некоторых двусмысленных терминов, не вполне соответствующих друг другу в различных языках. <.....>

1. **Язык есть нечто вполне определенное** в разнородном множестве фактов речевой деятельности. Его можно локализовать в определенном отрезке рассмотренного нами речевого акта, а именно там, где слуховой образ ассоциируется с понятием. Он представляет собою социальный аспект речевой деятельности, внешний по отношению к индивиду, который сам по себе не может ни создавать его, ни изменять. Язык существует только в силу своего рода договора, заключенного членами коллектива. Вместе с тем, чтобы знать его функционирование, индивид должен учиться; ребенок овладевает им лишь мало-помалу. Язык до такой степени есть нечто вполне особое, что человек, лишившийся дара речи, сохраняет язык, поскольку он понимает слышимые им языковые знаки.

2. **Язык, отличный от речи, составляет предмет, доступный самостоятельному изучению.** Мы не говорим на мертвых языках, но мы отлично можем овладеть их механизмом. Что же

касается прочих элементов речевой деятельности, то наука о языке вполне может обойтись без них; более того, она вообще возможна лишь при условии, что эти прочие элементы не примешаны к ее объекту.

3. В то время как речевая деятельность в целом имеет характер разнородный, язык, как он нами определен, есть явление по своей природе однородное—это система знаков, в которой единственно существенным является соединение смысла и акустического образа, причем оба эти компонента знака в равной мере психичны.

4. Язык не в меньшей мере, чем речь, конкретен по своей природе, и это весьма способствует его исследованию. Языковые знаки хотя и психичны по своей сущности, но вместе с тем они—не абстракции; ассоциации, скрепленные коллективным согласием и в своей совокупности составляющие язык, суть реальности, локализующиеся в мозгу. Более того, знаки языка, так сказать, осязаемы: на письме они могут фиксироваться посредством условных написаний... <.....> Именно возможность фиксировать явления языка позволяет сделать словарь и грамматику верным изображением его: ведь язык — это сокровищница акустических образов, а письмо обеспечивает им осязаемую форму.

§ 3. Место языка в ряду явлений человеческой жизни. Семиология

Сформулированная в § 2 характеристика языка ведет нас к установлению еще более важного положения. Язык, выделенный таким образом из совокупности явлений речевой деятельности, в отличие от этой деятельности в целом, занимает особое место среди проявлений человеческой жизни.

Как мы только что видели, язык есть общественное установление, которое во многом отличается от прочих общественных установлений: политических, юридических и др. Чтобы понять его специфическую природу, надо привлечь ряд новых фактов.

Язык есть система знаков, выражающих понятия, а следовательно, его можно сравнивать с письменностью, с азбукой для глухонемых, с символическими обрядами, с формами учтивости, с военными сигналами и т. д. и т. п. Он только наиважнейшая из этих систем.

Следовательно, можно представить себе науку, изучающую жизнь знаков в рамках жизни общества; такая наука явилась бы частью социальной психологии, а следовательно, и общей психологии; мы назвали бы ее семиологией (от греч. semeion «знак»). Она должна открыть нам, что такое знаки и какими законами они управляются. Поскольку она еще не существует, нельзя сказать, чем она будет; но она имеет право на существование, а ее место определено.

Глава V Внутренние и внешние элементы языка

Наше определение языка предполагает устранение из понятия «язык» всего того, что чуждо его организму, его системе,— одним словом, всего того, что известно под названием «внешней лингвистики», хотя эта лингвистика и занимается очень важными предметами и хотя именно ее главным образом имеют в виду, когда приступают к изучению речевой деятельности. <.....>

Внешняя лингвистика может нагромождать одну подробность на другую, не чувствуя себя стесненной тисками системы. Например, каждый автор будет группировать по своему усмотрению факты, относящиеся к распространению языка за пределами его территории; при выяснении факторов, создавших наряду с диалектами литературный язык, всегда можно применить простое перечисление; если же факты располагаются автором в более или менее систематическом порядке, то делается это исключительно в интересах изложения.

В отношении внутренней лингвистики дело обстоит совершенно иначе; здесь исключено всякое произвольное расположение. Язык есть система, которая подчиняется лишь своему собственному порядку. Уяснению этого может помочь сравнение с игрой в шахматы, где довольно легко отличить, что является внешним, а что внутренним. То, что эта игра пришла в Европу из Персии, есть факт внешнего порядка; напротив, внутренним является все то, что касается системы и правил игры. Если я фигуры из дерева заменяю фигурами из слоновой кости, то такая замена будет безразлична для системы; но если я уменьшу или увеличу коли-

чество фигур, такая перемена глубоко затронет «грамматику» игры. Такого рода различие требует, правда, известной степени внимательности, поэтому в каждом случае нужно ставить вопрос о природе явления и при решении его руководствоваться следующим положением: внутренним является все то, что в какой-либо степени видоизменяет систему.

Часть первая Общие принципы

Глава I Природа языкового знака

§ 1. Знак, означаемое, означающее

Многие полагают, что язык есть по существу номенклатура, то есть перечень названий, соответствующих каждое одной определенной вещи. <.....>

Такое представление может быть подвергнуто критике во многих отношениях. Оно предполагает наличие уже готовых понятий, предшествующих словам... <.....> оно позволяет думать, что связь, соединяющая название с вещью, есть нечто совершенно простое, а это весьма далеко от истины. Тем не менее такая упрощенная точка зрения может приблизить нас к истине, ибо она свидетельствует о том, что **единица языка есть нечто двойственное, образованное из соединения двух компонентов.** <.....>

<.....> Мы называем *знаком* соединение понятия и акустического образа, но в общепринятом употреблении этот термин обычно обозначает только акустический образ... <.....>

Двусмысленность исчезнет, если называть все три наличных понятия именами, предполагающими друг друга, но вместе с тем взаимно противопоставленными. Мы предлагаем сохранить слово *знак* для обозначения целого и заменить термины *понятие* и *акустический образ* соответственно **терминами *означающее* и *означающее***; последние **два термина имеют то преимущество, что отмечают противопоставление, существующее как между ними самими, так и между целым и частями этого целого.** Что же касается термина «знак», то мы довольствуемся им, не зная, чем его заменить, так как обиходный язык не предлагает никакого иного подходящего термина.

Языковой знак, как мы его определили, обладает двумя свойствами первостепенной важности. Указывая на них, мы тем самым формулируем основные принципы изучаемой нами области знания.

§ 2. Первый принцип: произвольность знака

Связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольна; поскольку под знаком мы понимаем целое, возникающее в результате ассоциации некоторого означающего с некоторым означаемым, то эту же мысль мы можем выразить проще: **языковой знак произволен.** <.....>

Принцип произвольности знака никем не оспаривается; но часто гораздо легче открыть истину, нежели указать подобающее ей место. Этот принцип подчиняет себе всю лингвистику языка; следствия из него неисчислимы. Правда, не все они обнаруживаются с первого же взгляда с одинаковой очевидностью; их можно открыть только после многих усилий, но именно благодаря открытию этих последствий выясняется первостепенная важность названного принципа. <.....>

<.....> ...можно сказать, что знаки, целиком произвольные, лучше других реализуют идеал семиологического подхода; вот почему язык—самая сложная и самая распространенная из систем выражения — является вместе с тем и наиболее характерной из них; в этом смысле лингвистика может служить моделью (*patron general*) для всей семиологии в целом, хотя язык—только одна из многих семиологических систем.

Для обозначения языкового знака, или, точнее, того, что мы называем означающим, иногда пользуются словом *символ*. Но пользоваться им не вполне удобно именно в силу нашего первого принципа. Символ характеризуется тем, что он всегда не до конца произволен; он не вполне пуст, в нем есть рудимент естественной связи между означающим и означаемым. Символ справедливости, весы, нельзя заменить чем попало, например колесницей.

Слово *произвольный* также требует пояснения. Оно не должно пониматься в том

смысле, что означающее может свободно выбираться говорящим (как мы увидим ниже, человек не властен внести даже малейшее изменение в знак, уже принятый определенным языковым коллективом); мы хотим лишь сказать, что означающее *немотивировано*, то есть произвольно по отношению к данному означаемому, с которым у него нет в действительности никакой естественной связи. <.....>

Глава II Неизменчивость и изменчивость знака

§ 1. Неизменчивость знака

Если по отношению к выражаемому им понятию означающее представляется свободно выбранным, то, наоборот, по отношению к языковому коллективу, который им пользуется, оно не свободно, а навязано. У этого коллектива мнения не спрашивают, и выбранное языком означающее не может быть заменено другим. <.....>

Таким образом, язык не может быть уподоблен просто договору; именно с этой стороны языковой знак представляет особый интерес для изучения, ибо если мы хотим показать, что действующий в коллективе закон есть нечто, чему подчиняются, а не свободно принимают, то наиболее блестящим подтверждением этому является язык. <.....>

Однако еще недостаточно сказать, что язык есть продукт социальных сил, чтобы стало очевидно, что он несвободен; помня, что язык всегда унаследован от предшествующей эпохи, мы должны добавить, что те социальные силы, продуктом которых он является, действуют в зависимости от времени. Язык устойчив не только потому, что он привязан к косной массе коллектива, но и вследствие того, что он существует во времени. <.....> Именно потому, что знак произволен, он не знает другого закона, кроме закона традиции, и, наоборот, он может быть произвольным только потому, что опирается на традицию.

Глава III Статическая лингвистика и эволюционная лингвистика

§ 4. Различие синхронии и диахронии, показанное на сравнениях

Из всех сравнений, которые можно было бы придумать, наиболее показательным является сравнение, которое можно провести между функционированием языка и *игрой в шахматы*. И здесь и там налицо система значимостей и наблюдаемое изменение их. Партия в шахматы есть как бы искусственная реализация того, что в естественной форме представлено в языке. Рассмотрим это сравнение детальнее. Прежде всего, понятие позиции в шахматной игре во многом соответствует понятию состояния в языке. Соответствующая значимость фигур зависит от их положения в каждый данный момент на доске, подобно тому как *в языке значимость каждого элемента зависит лишь от его противоположения всем прочим элементам*.

Далее, система всегда моментальна; она видоизменяется от позиции к позиции. Правда, значимость фигур зависит также, и даже главным образом, от неизменного соглашения: от правил игры, существующих еще до начала партии и сохраняющих свою силу после каждого хода. Но такие правила, принятые раз навсегда, существуют и в области языка: это неизменные принципы семиологии.

Наконец, *для перехода от одного состояния равновесия к другому* или—согласно принятой нами терминологии—от одной синхронии к другой *достаточно сделать ход одной фигурой*; не требуется передвижки всех фигур сразу. Здесь мы имеем полное соответствие диахроническому факту со всеми его особенностями. В самом деле:

а) Каждый шахматный ход приводит в движение только одну фигуру; так и в языке изменениям подвергаются только отдельные элементы.

б) Несмотря на это, каждый ход сказывается на всей системе; игрок не может в точности предвидеть последствия каждого хода. Изменения значимостей всех фигур, которые могут произойти вследствие данного хода, в зависимости от обстоятельств будут либо ничтожны, либо весьма значительны, либо, в общем, скромны. Один ход может коренным образом изменить течение всей партии и повлечь за собой последствия даже для тех фигур, которые в тот момент, когда его делали, были им не затронуты. Мы уже видели, что точно то же верно и в отношении языка.

в) Ход отдельной фигурой есть факт, абсолютно отличный от предшествовавшего ему и следующего за ним состояния равновесия. Произведенное изменение не относится ни к одному из этих двух состояний; для нас же важны одни лишь состояния.

В шахматной партии любая данная позиция характеризуется, между прочим, тем, что она совершенно независима от всего того, что ей предшествовало; совершенно безразлично, каким путем она сложилась; зритель, следивший за всей партией с самого начала, не имеет ни малейшего преимущества перед тем, кто пришел взглянуть на положение партии в критический момент; для описания данной шахматной позиции совершенно незачем вспоминать о том, что происходило на доске десять секунд тому назад. Все это рассуждение применимо и к языку и еще раз подчеркивает коренное различие, проводимое нами между диахронией и синхронией. Речь функционирует лишь в рамках данного состояния языка, и в ней нет места изменениям, происходящим между одним состоянием и другим.

Лишь в одном пункте наше сравнение неудачно: у шахматиста имеется *намерение* сделать определенный ход и воздействовать на систему отношений на доске, язык же ничего не замышляет – его «фигуры» передвигаются, или, вернее, изменяются, стихийно и случайно. <.....>

Клод Леви-Строс

СТРУКТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ (1958) (фрагменты с купюрами)

<.....>

В этой работе мы не будем касаться самого термина «социология», поскольку он в этом веке не объединил еще все общественные науки, о чем мечтали Дюркгейм и Симиан. Если рассматривать ее в том понимании, которое еще принято в ряде европейских стран, включая Францию, то эта наука, занимающаяся изучением основных принципов социальной жизни и тех идей, которых люди придерживались и придерживаются по вопросам социальной жизни, сводится к социальной философии и не имеет отношения к нашей работе. Если же в ней видеть, как это имеет место в англосаксонских странах, совокупность позитивных исследований, посвященных организации и деятельности обществ наиболее сложного типа, то социология становится особого рода этнографической дисциплиной. Однако именно из-за сложности ее предмета она не может претендовать на столь же точные и богатые результаты, какими располагает этнография и изучение которых, таким образом, представляет с точки зрения методологии гораздо более общее значение.

Остается дать определение самой этнографии и этнологии. Мы установим между ними очень общее и условное, хотя и вполне достаточное для начала исследования, различие, утверждая, что этнография занимается наблюдением и анализом человеческих групп с учетом их особенностей (часто эти группы выбираются среди тех, которые наиболее отличаются от нашей, по теоретическим и практическим соображениям, не имеющим ни малейшего отношения к существу исследования) и стремится к наиболее верному воспроизведению жизни каждой из этих групп. Этнология же занимается сравнением предоставляемых этнографом описаний (цели этого сравнения будут изложены ниже). При подобном определении этнография приобретает одно и то же значение во всех странах; этнология же соответствует приблизительно тому, что в англосаксонских странах (где этот термин малоупотребителен) понимается как социальная и культурная антропология (социальная антропология занимается по большей части изучением социальных установлений, рассматриваемых как системы представлений, а культурная антропология – исследованием средств, обслуживающих социальную жизнь общества, а в известных случаях также социальных установлений, рассматриваемых как такие средства). <.....>

То, что своеобразие этнологии связано с бессознательным характером коллективных явлений, вытекает уже из ее определения у Тэйлора, хотя оно и было еще расплывчатым и несколько двусмысленным. Определив этнологию как науку, занимающуюся изучением «культуры или цивилизации», он описывает последнюю как сложный комплекс, состоящий

из «познаний, верований, искусства, морали, права, обычаев и всех прочих склонностей или привычек, приобретенных человеком как членом общества». Известно, что у большинства первобытных народов очень трудно выяснить моральное оправдание какому-либо обычаю или социальному установлению или получить его разумное объяснение: в ответ на подобные вопросы туземец ограничивается заявлением о том, что это положение вещей существовало всегда, что таковы были воля богов или наставления предков. Но даже когда удастся получить у туземцев объяснения, то оказывается, что они всегда носят следы позднейшего подведения рациональной основы или же вторичного осмысления обычая. Нет никакого сомнения в том, что бессознательные причины выполнения какого-либо обряда или причастности к какой-то вере очень далеки от тех, на которые ссылаются, чтобы их оправдать. Даже в нашем обществе каждый человек тщательно соблюдает правила поведения за столом, общественный этикет, требования к одежде и многочисленные нравственные, политические и религиозные нормы, однако их происхождение и реальные функции не являются для него предметом обдуманного анализа. Мы поступаем и мыслим по привычке, и невероятное сопротивление, оказываемое даже малейшему отступлению от нее, является скорее следствием инертности, чем сознательного желания сохранить обычаи, причина которых была бы понятна разуму. <.....>

Именно Боасу принадлежит заслуга исключительно ясного определения бессознательного характера явлений культуры: в своих рассуждениях на эту тему он уподобляет их с этой точки зрения языку, предвосхищая дальнейшее развитие лингвистики и будущее этнологии, перспективы которой мы только начинаем с трудом различать. Показав, что структура языка остается неизвестной говорящему до создания научной грамматики и что даже тогда она продолжает определять формы речи помимо сознания субъекта, так как она ставит его мышлению концептуальные пределы, которые он принимает за объективные категории, Боас добавляет: «Основное различие между языковыми явлениями и другими проявлениями культуры заключается в том, что первые никогда не возникают сознательно, тогда как вторые, хотя они тоже берут свое начало от бессознательного, часто возвышаются до уровня сознательного мышления, порождая таким образом вторичные умозаключения и повторные попытки их осмысления». Однако это различие в степени бессознательности не скрывает их глубокого тождества и не уменьшает исключительной ценности лингвистического метода, являющегося образцом для этнологических исследований. Напротив, «большое преимущество лингвистики в этом отношении состоит в том, что в общей сложности категории языка остаются бессознательными; поэтому можно проследить процесс их образования без вторжения ошибочных и мешающих вторичных истолкований, столь частых в этнологии, что они могут непоправимо затемнить историю развития идей».

Только достижения современной фонологии позволяют оценить огромное значение этих положений, сформулированных за восемь лет до опубликования «Курса общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра, подготовившего появление этой науки. Однако в этнологии они еще не применялись. <.....>

Лингвист извлекает из слов фонетическую реальность фонемы; из фонем вытекает логическая реальность различительных признаков. И если в нескольких языках обнаруживается наличие одинаковых фонем или употребление одинаковых пар оппозиций, он не сравнивает между собой различные по своей индивидуальности явления: это та же фонема, тот же элемент, что удостоверяет в этой новой плоскости глубинное сходство эмпирически различных явлений. Речь идет не о двух подобных явлениях, а об одном. Переход от сознательного к бессознательному сопровождается восхождением от частного к общему. Следовательно, в этнологии, как и в лингвистике, не обобщение основывается на сравнении, а, напротив, сравнение на обобщении. Если, как мы полагаем, бессознательная умственная деятельность состоит в наделении содержания формой и если эти формы в основном одинаковы для всех типов мышления, древнего и современного, первобытного и цивилизованного, – как это блестяще раскрывается при исследовании символической функции в том виде, как она выражается в языке, – то необходимо и достаточно прийти к бессознательной структуре, ле-

жащей в основе каждого социального установления или обычая, чтобы обрести принцип истолкования, действительный и для других установлений и обычаев, разумеется, при условии достаточно глубокого анализа.

Как же прийти к выявлению этой бессознательной структуры? В этом вопросе этнологический и исторический метод сходятся. Бесплезно ссылаться здесь на проблему диахронических структур, где совершенно необходимо знание истории. Некоторые аспекты развития жизни общества носят, несомненно, диахронический характер; однако на примере фонологии этнологи убедились в том, что это исследование гораздо сложнее и ставит совсем иные проблемы, чем исследование синхронных структур, к рассмотрению которых они лишь приступили. Тем не менее даже и при анализе синхронических структур приходится постоянно прибегать к истории. Только изучение истории, показывая преобразования социальных установлений, позволяет выявить структуру, лежащую в основе многочисленных своих выражений и сохраняющуюся в изменчивой последовательности событий.

Вернемся к вышеупомянутой проблеме дуальной организации. Если рассматривать ее не как всеобщую ступень развития общества или не как систему, созданную в каком-то одном месте в определенное время, и если в то же время сознавать, что все дуальные социальные установления имеют слишком много общего, чтобы считать их разнородными следствиями исторического развития, единственного и неповторимого в каждом отдельном случае, то остается посредством анализа каждого дуального общества выявить в хаосе правил и обычаев единую наличную в каждом из них схему, проявляющуюся по-разному в зависимости от местных и временных условий. Эта схема не может соответствовать ни какому-то определенному образцу установлений, ни какой-либо произвольной сумме черт, присущих разным формам дуальной организации. Она ведет к некоторым отношениям корреляции и оппозиции, соотношениям, разумеется, бессознательным даже у народов с дуальной организацией, но которые, будучи бессознательными, должны непременно присутствовать и у тех, кто никогда не был знаком с этим социальным установлением.

<.....> Во всех этих случаях сохраняется нечто такое, что постепенно можно выявить посредством исторических наблюдений, как бы пропуская через фильтр то, что можно было бы назвать лексикографическим содержанием социальных установлений и обычаев, в результате чего оставались бы только элементы структуры. В случае дуальной организации, по видимому, имеется три таких элемента: непреложность соблюдения правил; понятие взаимности, рассматриваемое как форма, позволяющая осуществлять непосредственное устранение оппозиции «я» и «другие»; синтетический характер дара. Эти факторы обнаруживаются во всех рассматриваемых обществах, и в то же время они объясняют менее дифференцированные религиозные обряды и обычаи, которые выполняют ту же функцию даже у народов без дуальной организации.

Таким образом, этнология не может оставаться безразличной к историческим процессам и к наиболее хорошо осознаваемым выражениям социальных явлений. Однако если этнолог относится к ним с тем же пристальным вниманием, что и историк, то его целью является исключение как бы в обратном порядке всего, что вызвано исторической случайностью или является только следствием размышлений. Его цель заключается в том, чтобы обнаружить за осознаваемыми и всегда различаемыми образами, посредством которых люди понимают историческое становление, инвентарь бессознательных, всегда ограниченных по числу возможностей. Их перечень и существующие между ними отношения совместимости или несовместимости создают логические основания для разных видов исторического развития, если и не всегда предвидимых, то во всех случаях закономерных. <.....>

Если этнолог занимается в основном анализом бессознательных элементов социальной жизни, то было бы нелепо предположить, что историк их игнорирует. Последний, несомненно, хочет прежде всего выявить социальные явления в зависимости от событий, в которых они воплощаются, и от того, каким образом они были задуманы и пережиты теми или иными индивидами. Однако, стремясь в своем поступательном движении постигнуть и объяснить то, что казалось людям следствием их представлений и поступков (или представлений и по-

ступков некоторых из них), историк хорошо понимает (и чем дальше, тем больше), что он должен привлекать весь комплекс бессознательных проявлений. Мы уже миновали время такой политической истории, которая ограничивалась бы нанизыванием в хронологическом порядке династий и войн на нить вторичных осмыслений и истолкований. История экономики является в широком смысле слова историей бессознательных операций. Поэтому любая хорошая книга по истории (а мы сейчас сошлемся на одну из лучших) проникнута этнологией. <.....>

Было бы неверным утверждать, что на пути познания человека, идущем от исследования осознанных явлений к изучению бессознательных форм, историк и этнолог движутся в противоположных направлениях; оба они идут в одну сторону, несмотря на то что осуществляемое ими вместе движение предстает перед каждым из них в различных формах – для историка от явного к неявному, а для этнолога от частного к общему. Однако на этом едином пути они различаются между собой характером ориентации: этнолог идет вперед, пытаясь постичь за осознаваемыми явлениями, которыми он никогда не пренебрегает, то бессознательное, к объяснению которого он стремится. В то же время историк движется, если можно так сказать, назад, не выпуская из виду конкретные и частные виды деятельности, отдаляясь от них лишь для того, чтобы их освещение было более богатым и полным. Во всяком случае, общность обеих дисциплин, поистине подобная двуликому Янусу, позволяет сохранять полноту кругозора. <.....>

ЯЗЫК И РОДСТВО

Глава II. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ В ЛИНГВИСТИКЕ И АНТРОПОЛОГИИ

Лингвистика, принадлежащая, несомненно, к числу социальных наук, занимает тем не менее среди них исключительное место. Она не является такой же социальной наукой, как другие, уже потому, что достигнутые ею успехи превосходят достижения остальных социальных наук. Лишь она одна, без сомнения, может претендовать на звание науки, потому что ей удалось выработать позитивный метод и установить природу изучаемых ею явлений. Это привилегированное положение влечет за собой определенные обязательства: лингвисту часто приходится видеть, как исследователи, занимающиеся смежными, но различными дисциплинами, вдохновляются его примером и пытаются следовать по его пути. <.....>

Возникновение фонологии внесло переворот в это положение. Она не только обновила перспективы лингвистики: столь всеобъемлющее преобразование не могло ограничиться одной отдельной дисциплиной. Фонология по отношению к социальным наукам играет ту же обновляющую роль, какую сыграла, например, ядерная физика по отношению ко всем точным наукам. В чем же состоит этот переворот, если попытаться выяснить его наиболее общие следствия? <.....> ...прежде всего фонология переходит от изучения сознательных лингвистических явлений к исследованию их бессознательного базиса; она отказывается рассматривать члены отношения как независимые сущности, беря, напротив того, за основу своего анализа отношения между ними; она вводит понятие системы... наконец, она стремится к открытию общих законов..., <.....>

Тогда здесь открываются новые перспективы. Речь уже идет не только о случайном сотрудничестве, где лингвист и социолог, работая каждый в своем углу, время от времени подбрасывают друг другу то, что, с их точки зрения, может представлять обоюдный интерес. При исследовании проблем родства (и, несомненно, также и при исследовании других проблем) социолог оказывается в ситуации, формально напоминающей ситуацию, в которой находится лингвист-фонолог: как и фонемы, термины родства являются ценностными элементами; как и первые, они обретают эту ценность лишь потому, что они сочетаются в системы; «системы родства», как и «фонологические системы», были выработаны человеческим духом на уровне бессознательного мышления. Наконец, совпадения в удаленных районах земного шара и в совершенно различных обществах форм родства, брачных правил, предписанных норм поведения между определенными типами родственников и т. п. заставляют думать, что как в одном, так и в другом случае наблюдаемые явления есть не что иное, как ре-

зультат взаимодействия общих, но скрытых законов. Эту проблему можно сформулировать следующим образом: *в другом плане существующей действительности явления родства представляют собой явления того же типа, что и языковые явления.* Может ли социолог, пользуясь по отношению к форме (если не к содержанию) методом, аналогичным методу, выработанному фонологией, способствовать в своей науке успехам, сходным с теми, которые достигнуты лингвистическими науками?

<.....> Предварительная трудность возникает при переносе фонологического метода на социологические исследования первобытных народов.

Внешнее сходство фонологических систем и систем родства настолько велико, что оно немедленно увлекает по ложному пути, который заключается в формальном уподоблении терминов родства фонемам языка. Известно, что для выведения структурного закона лингвист разлагает фонемы по их «различительным признакам», которые можно затем объединить в одну или несколько «пар оппозиций». Социолог мог бы попытаться раздробить термины родства данной системы, пользуясь аналогичным методом. Например, в нашей системе родства термин «отец» (реге) имеет положительное содержание, поскольку это касается пола, относительного возраста, поколения, но он не имеет ни малейшей тенденции к классификационному употреблению и не может выражать отношений свойства. Таким образом, при рассмотрении каждой системы возникает вопрос о характере выражаемых отношений, а в случае каждого термина родства выясняется, какое значение – положительное или отрицательное – принимает каждое из этих отношений: поколение, классификационное употребление, пол, относительный возраст, свойство и т. д. Есть надежда именно на этом уровне «микросоциологии» установить наиболее общие структурные законы, подобно тому как это делает лингвист на уровне более низком, чем фонемный, или физик на уровне более низком, чем молекулярный, т. е. на уровне атома. <.....>

Однако при этом тотчас же возникает тройное возражение. *Истинно научный анализ должен соответствовать фактам, отвечать критерию простоты и иметь объясняющую силу.* Так, различительные элементы, к которым приходит фонологический анализ, существуют объективно с трех точек зрения: психологической, физиологической и даже физической; они менее многочисленны, чем образуемые их комбинациями фонемы; наконец, они позволяют понять и воссоздать систему. Из предыдущей гипотезы этого не следует. Трактовка терминов родства в том виде, как мы ее представили выше, имеет лишь внешнее сходство с анализом, так как в действительности результат оказывается абстрактнее принципа. Вместо движения к конкретному происходит удаление от него, и получаемая в конечном счете система, если ее удастся построить, может иметь лишь характер концепта. <.....>

В чем же причина этой неудачи? *Излишне буквальное следование лингвистическому методу на деле противоречит его духу. Термины родства существуют не только социологически: это также элементы речи.* Стараясь перенести на них методы лингвистического анализа, не следует забывать о том, что, поскольку они являются частью словаря, по отношению к ним нужно пользоваться этими методами не по аналогии, а непосредственно. А лингвистика учит именно тому, что фонологическому анализу подвластны лишь слова, предварительно разбитые на фонемы. *На уровне словаря нет обязательных отношений.* <.....>

Не следует также забывать об очень глубоком различии, существующем между системой фонем в языке и системой терминов родства в обществе. В первом случае функция не вызывает сомнений: все мы знаем, для чего служит язык; он служит для общения. Но лингвисты долгое время не знали, каким способом языку удастся этого достигнуть, и только фонология смогла это объяснить. Функция была очевидной, система оставалась невыясненной. В этом отношении позиция социолога совершенно противоположна: еще со времени Льюиса Г. Моргана мы хорошо знаем, что термины родства образуют системы, зато нам по-прежнему неизвестно их предназначение. <.....>

Это не означает, что мы должны отказаться от внесения порядка и выяснения ценностей в *номенклатурах родства.* Однако нужно по крайней мере разобраться в тех специальных проблемах, которые ставятся социологией терминов родства, и в двойственном характере

отношений, объединяющих ее методы с лингвистическими. По этой причине хотелось бы ограничиться обсуждением случая, где аналогия легко обнаруживается. К счастью, мы имеем такую возможность.

То, что обычно называется «системой родства», представляет собой в действительности сочетание двух совершенно различных планов реальности. Прежде всего имеются термины, которыми выражаются разные типы семейных отношений. Однако родство выражается не только в номенклатуре: индивиды или классы индивидов, пользующиеся этими терминами, придерживаются по отношению друг к другу определенных норм поведения: уважения или фамильярности, права или долга, любви или вражды. Таким образом, наряду с тем, что мы предлагаем назвать системой наименований (и что образует, в сущности говоря, систему терминов), существует другая система, являющаяся одновременно психологической и социальной, которую мы назовем системой установок. <.....>

<.....>... можно выдвинуть аргумент логического порядка: для существования структуры родства необходимо наличие трех типов семейных отношений, всегда существующих в человеческом обществе, а именно: отношения кровного родства, отношения свойства и родственные отношения порождения – другими словами, отношения брата к сестре, отношения супруга к супруге, отношения родителей к детям. Нетрудно увидеть, что рассматриваемая здесь структура удовлетворяет этому тройному требованию в соответствии с принципом наибольшей экономии. Однако предыдущие замечания носят абстрактный характер, и для наших доказательств можно сослаться на более непосредственные доводы.

<.....> Родство не является статичным явлением, оно существует только для того, чтобы непрерывно продолжаться. Мы имеем здесь в виду не желание продолжения рода, а тот факт, что в большинстве систем родства изначальное нарушение равновесия, возникающее в данном поколении между отдающим женщину и тем, кто ее получает, может восстановиться только благодаря ответным дарениям в последующих поколениях. Даже самая элементарная структура родства существует одновременно в синхроническом и диахроническом измерениях.

Во-вторых, нельзя ли выявить столь же простую симметричную структуру на основе противоположного пола, т. е. структуру, состоящую из сестры, ее брата, его жены и их дочери? Несомненно можно, однако эта теоретическая вероятность сразу же может быть исключена из-за своей практической несостоятельности: в человеческом обществе мужчины производят обмен женщинами, а не наоборот. Остается поискать культуры, которые, возможно, и стремились создать нечто подобное этой симметричной структуре. Вероятность обнаружения таких структур весьма низка. <.....>

Отметим прежде всего, что система родства не имеет одинакового значения во всех культурах. В некоторых случаях она несет в себе активный принцип, регулирующий все социальные отношения или большинство из них. В других группах, таких, как наше общество, эта функция отсутствует или очень ослаблена; в-третьих же, как, например, в обществах индейцев прерий, она соблюдается лишь частично. Система родства является языком, но это не универсальный язык, и ему могут быть предпочтены другие средства выражения и действия. С точки зрения социологии это сводится к тому, что по отношению к каждой определенной культуре всегда возникает предварительный вопрос: систематична ли система? Этот вопрос, на первый взгляд абсурдный, может быть таковым только применительно к языку, так как язык является по преимуществу системой значений. Он не может не иметь значений, и все его существование заключается в значении. Но этот вопрос должен изучаться тем строже, чем дальше приходится удаляться от языка для рассмотрения других систем, тоже претендующих на значения, но в которых ценность значений остается частичной, фрагментарной или субъективной, таких систем, как социальная организация, искусство и т. д.

Кроме того, мы рассматривали авункулат как характерную черту элементарной структуры. Эта элементарная структура, складывающаяся из определенных отношений между четырьмя членами отношений, предстает перед нами как истинный атом родства. Нет таких структур, которые могли бы быть поняты или даны вне основных требований его структуры,

но она является единственным материалом и для построения более сложных систем. Ведь есть более сложные системы, или, говоря точнее, **любая система родства разрастается на основе этой элементарной системы, разветвляясь или развиваясь путем включения новых элементов**. Следует рассмотреть две гипотезы: одна состоит в том, что изучаемая система родства происходит от элементарных структур путем простого их соположения и вследствие этого отношения авункулата всегда остаются явными; вторая же заключается в допущении более сложного конструктивного единства системы. В последнем случае отношение авункулата, притом что оно наличествует, может входить в более усложненный контекст. <.....>

В действительности же система элементарных установок состоит по крайней мере из четырех членов: установки привязанности, нежности и непосредственности; установки, основанной на обмене дарами и ответных дарениях; в дополнение к этим двусторонним отношениям существуют две формы односторонних отношений, где одна соответствует положению кредитора, а другая – должника. <.....> Во многих системах отношения между двумя индивидами часто выражаются не в одной установке, а в нескольких, образующих, так сказать, пучок... Это составляет дополнительную причину **трудности выяснения основной структуры**.

<.....> Несомненно, что биологическая семья существует и имеет продолжение в человеческом обществе. Однако социальный характер родству придает не то, что оно должно сохранить от природы, а то основное, благодаря чему родство отделяется от природы. **Система родства** состоит не из объективных родственных или кровнородственных связей между индивидами; она **существует только в сознании людей, это произвольная система представлений**, а не спонтанное развитие фактического положения дел. Это, разумеется, не означает, что она должна противоречить подобному фактическому положению или что его можно просто игнорировать. <.....> Самой существенной чертой человеческого родства является то, что для него требуется в качестве предварительного условия установление соотношений между тем, что Радклиф-Браун называет «элементарными семьями». Однако действительно «элементарными» следует называть не семьи, представляющие изолированные члены отношений, а **отношения между ними**. Ни при каком ином толковании невозможно объяснить всеобщности запрета инцеста, скрытым или очевидным следствием которого и служит отношение авункулата, понимаемое в наиболее общем виде.

Будучи системами символов, системы родства представляют для антрополога благодарную почву, где его усилия почти что могут (мы настаиваем на этом «почти») объединиться с усилиями наиболее развитой общественной науки, т. е. лингвистики. При этом объединении, которое, возможно, приведет к лучшему познанию человека как в социологическом, так и в лингвистическом исследовании, никогда нельзя забывать о том, что мы имеем дело целиком с символами. Если правомерно и в некотором смысле необходимо прибегнуть к натуралистическому толкованию для того, чтобы попытаться понять истоки символики, то тем не менее, раз уж символы сложились, нужно прибегнуть к объяснению на другой основе, поскольку вновь возникшее явление отличается от предшествовавших ему и подготовивших его. Начиная с этого момента **любая уступка натурализму рискует умалить огромные достижения в области лингвистики**, начинающие также вырисовываться и в социологии семьи, и отбросить эту науку к бесплодному и заземленному эмпиризму.

Глава III. ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО

В книге, важность которой нельзя недооценить с точки зрения будущего социальных наук, Винер ставит вопрос о распространении на эти науки математических методов предсказания, сделавших возможным создание крупных электронных вычислительных машин. В конечном счете он дает на него отрицательный ответ, объясняя это двумя причинами.

Прежде всего он полагает, что сама природа социальных наук ведет к тому, что их развитие влияет на характер предмета исследования. **Для современной научной теории характерно понятие взаимозависимости наблюдателя и наблюдаемого явления**. В определенном смысле она присуща всем областям. Однако ею можно пренебречь в областях, которые доступны наиболее продвинутому вперед математическим исследованиям. <.....> И напротив того, эта

взаимозависимость остается очень ощутимой в социальных науках, поскольку вызываемые ею изменения представляют собой *величины того же порядка*, что и изучаемые явления.

Во-вторых, Винер отмечает, что явления, попадающие в сферу социологических и антропологических исследований, определяются в зависимости от наших собственных интересов: они относятся к жизни, воспитанию, карьере и смерти подобных нам индивидов. Вследствие этого статистические ряды, которыми располагают при исследовании какого-либо явления, всегда остаются слишком короткими, чтобы служить основанием для правильных выводов. Винер приходит к заключению, что математический анализ, примененный в общественных науках, может привести лишь к настолько же мало интересным для специалиста результатам, как результаты статистического анализа газа могли бы послужить организму, величина которого приблизительно равнялась бы величине молекулы.

Эти возражения совершенно неопровержимы, если их от нести к рассматриваемым Винером исследованиям, т. е. к монографиям и работам по прикладной антропологии. Речь в них идет об индивидуальных способах поведения, изучаемых исследователем, являющимся тоже индивидом, или же об изучении культуры, «национального характера», образа жизни исследователем, неспособным полностью преодолеть свою собственную культуру или же культуру, с которой связаны его методы и рабочие гипотезы, возникающие на основе определенного типа культуры.

Однако по крайней мере в одной области общественных наук возражения Винера во многом теряют свою силу. Видимо, в лингвистике, и в частности в структурной лингвистике (особенно если говорить о ее фонологическом аспекте), выполняются все условия, которые в своей совокупности необходимы, с точки зрения Винера, для математического исследования. Язык представляет собой социальное явление. Из всех социальных явлений в нем наиболее ярко проявляются два основных свойства, дающих основание для научного исследования. Прежде всего почти все акты лингвистического поведения оказываются на уровне бессознательного мышления. Когда мы говорим, мы не отдаем себе отчета в синтаксических и морфологических законах языка. Более того, мы не обладаем сознательным знанием фонем, используемых нами для различения смысла произносимых нами слов; в еще меньшей степени мы осознаем (если предположить, что для нас это иногда возможно) фонологические противопоставления, которые позволяют разлагать каждую фонему на различительные элементы. Наконец, отсутствие интуитивного понимания сказывается даже тогда, когда мы формулируем грамматические или фонологические правила нашего языка. Их формулирование осуществляется только благодаря научной мысли, в то время как язык живет и развивается как продукт, вырабатываемый коллективно. Даже ученому никогда не удастся полностью совмещать свои теоретические познания и опыт говорящего субъекта. Его манера говорить очень мало изменяется под влиянием толкований, которые он может ей дать и которые относятся к совершенно другому уровню. Можно, следовательно, утверждать, что в лингвистике влияние наблюдателя на объект наблюдения ничтожно мало: осознания явления наблюдателем недостаточно для того, чтобы его изменить.

В развитии человечества язык возникает очень рано. Однако, даже учитывая необходимость письменных источников для проведения научного исследования, нельзя не признать, что письменность известна давно и что она дает достаточно длинные ряды, чтобы сделать возможным математический анализ. <.....> Язык, следовательно, представляет собой социальное явление, не зависящее от наблюдателя и обладающее длинными статистическими рядами. Это двойное основание для того, чтобы считать его способным удовлетворить требования математика в том виде, как их сформулировал Винер.

Многие лингвистические проблемы могут быть разрешены современными вычислительными машинами. Если известны фонологическая структура какого-либо языка и правила, определяющие сочетаемость согласных и гласных, то машина легко могла бы составить перечень комбинаций фонем, образующих имеющиеся в словаре слова из n слогов, а также перечень различных других комбинаций, совместимых с предварительно ею определенной структурой языка. Машина, в которую введены зависимости, определяющие различные ти-

пы известных в фонологии структур, набор звуков, которые может издать голосовой аппарат человека, и самые малые дифференциальные пороги между этими звуками, предварительно определенные посредством психофизиологических методов (на основе инвентаризации и анализа наиболее близких друг к другу фонем), могла бы дать на выходе исчерпывающую по своей полноте таблицу фонологических структур с числом оппозиций n , где n может быть сколь угодно большим числом. Таким образом, можно было бы получить нечто вроде периодической таблицы лингвистических структур подобно таблице элементов, которой современная химия обязана Менделееву. Тогда нам осталось бы только разместить уже исследованные языки в таблице, установить их место и соотношения с другими языками, непосредственное исследование которых еще недостаточно для того, чтобы познать их теоретически, и даже найти место для языков исчезнувших, будущих и просто предполагаемых. <.....>

Поставленная здесь проблема может быть тогда определена следующим образом. Из всех общественных явлений, видимо, только язык может подвергаться истинно научному исследованию, объясняющему способ его формирования и предусматривающему некоторые направления его последующего развития. Эти результаты были достигнуты благодаря фонологии, которой в известной мере удалось выявить объективные реальности, выйдя за пределы сознательных исторических манифестаций языка, всегда остающихся поверхностными. В отличие от них реальность, изучаемая в фонологии, представляет собой системы отношений, являющиеся продуктом бессознательной умственной деятельности. Отсюда возникает проблема: применим ли этот же метод к другим типам социальных явлений? Если это так, то приведет ли такой метод к сходным результатам? И, наконец, если мы ответим утвердительно на второй вопрос, то сможем ли мы признать, что различные формы социальной жизни представляют в своей сути нечто общее: все они – системы поведения, каждая из которых является некоей проекцией на плоскость сознательного и обобществленного мышления всеобщих законов, управляющих бессознательной деятельностью духа? Ясно, что мы не решим одним разом все эти вопросы. Мы ограничимся указанием на некоторые отправные пункты и наброском основных направлений, следуя которым можно было бы успешно проводить исследования. <.....>

Возможно, что эти смелые умозрительные построения будут осуждены. Однако если сам их принцип не вызовет возражений, то на его основании можно выдвинуть по крайней мере одну гипотезу, которая поддается экспериментальной проверке. Мы действительно вынуждены задать себе вопрос: не представляют ли собой различные стороны социальной жизни (включая искусство и религию), при изучении которых, как нам уже известно, можно пользоваться методами и понятиями, заимствованными у лингвистики, явления, чья природа аналогична природе языка? Каким образом можно было бы проверить эту гипотезу? Вне зависимости от того, будет ли исследование ограничиваться изучением одного общества или же оно будет охватывать несколько обществ, все равно придется проводить глубокий анализ различных сторон социальной жизни для достижения уровня, на котором станет возможным переход от одного круга явлений к другому; это значит, что нужно разработать некий всеобщий код, способный выразить общие свойства, присущие каждой из специфических структур, соответствующих отдельным областям. Применение этого кода сможет стать правомерным как для каждой системы, взятой в отдельности, так и для всех систем при их сравнении. Таким образом исследователь окажется в состоянии выяснить, удалось ли наиболее полно постичь их природу, а также определить, состоят ли они из реалий одного и того же типа.

Да будет нам позволено прибегнуть здесь к эксперименту, произведенному именно в этом направлении. Антрополог, рассматривающий основные черты систем родства, характерные для различных районов земного шара, может попытаться выразить их в довольно общей форме, которая обретет смысл даже для лингвиста. Это значит, что лингвист в данном случае смог бы применить тот же тип формального исследования при описании языковых семей, соответствующих тем же районам земного шара. Произведя подобное предваритель-

ное приведение к простейшему виду, лингвист и антрополог смогут поставить перед собой вопрос, не связаны ли различные разновидности средств общения – родственные и брачные правила, с одной стороны, и язык – с другой, – в том виде, как они могут наблюдаться в одном и том же обществе, с аналогичными бессознательными структурами. При положительном решении этого вопроса мы были бы уверены в том, что нам удалось прийти к действительному выражению основных соотношений. <.....>

Мы вынуждены еще раз подчеркнуть ненадежный и гипотетический характер этой реконструкции. Действуя таким образом, антропология идет от известного к неизвестному (по крайней мере в том, что имеет к ней отношение); ей знакомы структуры родства, а не структуры соответствующих языков. Имеют ли значение для лингвистики вышеупомянутые различительные признаки? Ответ на этот вопрос должны дать лингвисты. Как ученый, занимающийся социальной антропологией и являющийся лишь любителем в лингвистике, я ограничиваюсь установлением связи вероятных структурных признаков, понимаемых в самом общем смысле, с некоторыми особенностями систем родства. <.....>

Тем самым был бы открыт путь структурному и сравнительному анализу обычаев, социальных установлений и санкционированных общественной группой норм поведения. Нам стали бы понятны некоторые основные аналогии между такими внешне очень далекими друг от друга проявлениями жизни общества, как язык, искусство, право, религия. Наконец, мы могли бы одновременно надеяться на преодоление антиномии между культурой, являющейся общественным продуктом, и воплощающими ее индивидами, поскольку при этой новой перспективе так называемое «общественное сознание» будет сведено к выражению на уровне индивидуального мышления и поведения некоторых исторических разновидностей универсальных законов. В таком выражении и состоит бессознательная деятельность человеческого духа.

Глава IV. ЛИНГВИСТИКА И АНТРОПОЛОГИЯ

Вероятно, впервые антропологи и лингвисты собрались вместе с отчетливо поставленной целью: заняться сравнением соответствующих дисциплин. Проблема действительно весьма сложна. Трудности, с которыми мы столкнулись во время наших дискуссий, объясняются, на мой взгляд, несколькими причинами. Мы не удовлетворились сравнением лингвистики и антропологии, произведенным с очень общей точки зрения, нам пришлось рассматривать их на разных уровнях, и мне кажется, что мы неоднократно во время дискуссии перескакивали с одного уровня на другой. Попытаемся их дифференцировать.

Прежде всего речь шла о соотношении между каким-то *одним* определенным языком и какой-то *одной* определенной культурой. Необходимо ли знание языка для изучения данной культуры? В какой мере и в каких пределах? И напротив, предполагает ли знание языка знание культуры или по крайней мере некоторых из ее сторон?

На другом уровне обсуждался вопрос не о соотношениях *одного* определенного языка и *одной* определенной культуры, а скорее о соотношениях между *языком и культурой* в целом. Однако уделили ли мы достаточно внимания этой стороне вопроса? <.....>

Третья группа проблем привлекла еще меньше внимания. Я имею в виду не соотношение *одного* определенного языка – или языка самого по себе – и *одной* определенной культуры – или культуры самой по себе, а соотношение между лингвистикой и антропологией, рассматриваемыми как науки. Этот основной, на мой взгляд, вопрос остался тем не менее на заднем плане в наших дискуссиях.

Чем же объяснить подобный неравный подход к рассмотрению проблем? А тем, что проблема соотношений между языком и культурой наиболее сложна. Прежде всего можно рассматривать язык как продукт культуры: употребляемый в обществе язык отражает общую культуру народа. Но, с другой стороны, язык является частью культуры, он представляет собой один из ее элементов. Напомним об одном широко известном определении Тэйлора, для которого культура есть сложный конгломерат, куда входят утварь, социальные установления, верования, обычаи, а также, разумеется, и язык. Все эти проблемы могут представ-

ляться различными в зависимости от принятой точки зрения. Но и это еще не все: можно также рассматривать **язык как условие культуры**, причем с двух позиций: диахронически, поскольку именно с помощью языка индивид обретает культуру своей группы; ребенка учат и воспитывают словом, его бранят и хвалят, пользуясь опять-таки словами. С более теоретической точки зрения язык представляет также условие культуры в той мере, в какой эта последняя обладает строением, подобным строению языка. И то и другое создается посредством оппозиций и корреляций, другими словами, логических отношений. Таким образом, **язык можно рассматривать как фундамент, предназначенный для установления на его основе структур, иногда и более сложных, но аналогичного ему типа, соответствующих культуре**, рассматриваемой в ее различных аспектах.

В предыдущих замечаниях речь шла об объективной стороне нашей проблемы. Однако с ней также связаны довольно существенные субъективные моменты. Во время наших дискуссий у меня сложилось впечатление, что причины, побудившие антропологов и лингвистов собраться вместе, различны по своей природе и что эти различия доходили порой до противоречия. Лингвисты неустанно говорили нам о том, что они обеспокоены современной ориентацией их науки. Они боятся утратить контакт с другими науками о человеке, занимаясь исключительно анализами, куда вторгаются абстрактные понятия, становящиеся все более труднодоступными для понимания представителей смежных дисциплин. Лингвисты, и особенно структуралисты, задают себе вопрос: что же они в действительности изучают? **Что же это за предмет, лингвистика, которая как бы отрывается от культуры, социальной жизни, истории и даже от самих говорящих, от людей?** Если лингвисты и настояли на общем заседании с антропологами в надежде на сближение с ними, то не потому ли, что они рассчитывают благодаря нам прийти к конкретному пониманию явлений, поскольку их метод как будто способствует удалению от этого понимания?

Антропологи отнеслись к этому своеобразно. Мы занимаем по отношению к лингвистам щекотливую позицию. В течение ряда лет мы работали бок о бок, и неожиданно лингвисты, как нам кажется, начинают уклоняться от этого сотрудничества: мы видим, как они переступают долго считавшийся непреодолимым барьер, который отделяет точные и естественные науки от наук гуманитарных и социальных. Как бы в насмешку над нами лингвисты начинают применять в своей работе те строгие методы, использование которых мы вынуждены были считать привилегией естественных наук.

Поэтому мы испытываем некоторую грусть и, признаемся, большую зависть. Нам хотелось бы выведать у лингвистов секрет их успеха. Не смогли ли бы мы тоже применять в той сложной области, где мы ведем наши исследования, – родства, социальной организации, религии, фольклора, искусства – эти строгие методы, эффективность которых ежедневно подтверждается лингвистикой? <.....>

Но, даже становясь на теоретическую точку зрения, **мы можем, по-моему, утверждать, что между языком и культурой должна существовать некая связь**. И тот, и другая развивались несколько тысячелетий, и это развитие происходило параллельно в мышлении людей. Я, разумеется, не имею в виду частые случаи принятия какого-либо чужого языка обществом, ранее говорившим на другом языке. В данный момент мы можем ограничиться особыми случаями, когда язык и культура некоторое время развивались бок о бок без явного вмешательства внешних факторов. **Но можем ли мы представить себе человеческий дух, разделенный на отдельные секции столь непроницаемыми перегородками, что ничто не может проникнуть сквозь них?** Прежде чем ответить на этот вопрос, следует рассмотреть две проблемы: **проблему уровня**, на котором мы должны находиться в поисках корреляций между обоими рядами, и **проблему самих объектов**, между которыми мы сможем установить эти корреляции. <.....>

Социальные установки подлежат эмпирическому наблюдению. Они не относятся к тому же уровню, что и лингвистические структуры, они расположены на более поверхностном уровне. <.....>

Для надлежащего определения отношений между языком и культурой нужно, по-моему,

сразу же исключить две гипотезы. Согласно первой, между этими двумя рядами не может быть никакой связи; вторая же гипотеза, обратная первой, утверждает наличие полнейшей корреляции на всех уровнях. В первом случае мы столкнулись бы с прообразом нерасчлененного и раздробленного человеческого сознания, разделенного на отсеки и этажи, между которыми невозможна какая бы то ни было связь, что было бы весьма странно и чуждо тому, что свойственно другим сферам психической жизни. Однако если бы связь между языком и культурой была абсолютной, то лингвисты и антропологи уже заметили бы это и мы не занимались бы здесь обсуждением этого вопроса. Принятая мной рабочая гипотеза занимает промежуточное положение: возможно, что между определенными аспектами и на определенных уровнях могут быть обнаружены некоторые связи, и наша задача состоит в том, чтобы определить, каковы эти аспекты и где эти уровни. Антропологи и лингвисты могут сотрудничать для разрешения этой задачи. Но основной выигрыш от наших возможных открытий не достанется ни антропологии, ни лингвистике, как мы их сейчас понимаем: эти открытия будут полезными для науки одновременно и очень древней, и очень новой – *антропологии* в самом широком смысле слова, т. е. познанию человека, объединяющему различные методы и дисциплины, которые выявят когда-нибудь тайные силы, приводящие в движение этого присутствующего, хотя и не приглашенного на наши споры гостя: **человеческий дух**.

Эмиль Бенвенист

ОБЩАЯ ЛИНГВИСТИКА (1966) (фрагменты с купюрами)

ГЛАВА II НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩЕЙ ЛИНГВИСТИКЕ

В течение последних десятилетий лингвистика развивалась такими быстрыми темпами и так расширила свою сферу, что даже самый общий обзор проблем, с которыми она имеет дело, разросся бы до размеров самостоятельной работы или свелся бы к сухому перечислению статей и книг. <.....> Но если бы и можно было рассмотреть все эти исследования более детально, то обзор показал бы, что работа идет весьма неравномерно: одни авторы продолжают изыскания, которые были бы такими же и в 1910 году; другие отвергают даже само название «лингвистика» как устаревшее; третьи посвящают целые тома единственному понятию «фонема». Увеличение числа работ отнюдь не выявляет, а скорее скрывает глубокие сдвиги, которые происходят в методе лингвистики и умонастроении лингвистов в течение последних десятилетий, и те противоречия, которые разделяют лингвистику сегодня. Когда осознаешь, что поставлено на карту и какие последствия современные споры могут иметь также и для других наук, то возникает мысль, что дискуссии по вопросам метода в лингвистике, может быть, только прелюдия к общему пересмотру ценностей, который охватит в конечном итоге все науки о человеке. Вот почему мы остановимся главным образом и не в специальных терминах на проблемах, являющихся сейчас центральными для общей лингвистики, – на понимании лингвистами своего объекта и на направлении, которое принимают их поиски.

Опубликованный в 1933 году редакцией «Journal de Psychologies» сборник под названием «Психология языка» («Psychologie du langage») возвестил уже о решительном обновлении теоретических воззрений и установок. Здесь впервые были изложены принципы, которые, подобно принципам «фонологии», широко проникли теперь даже в педагогическую практику. Вместе с тем здесь обнаружили и противоречия, которые в последующие годы привели к перестройке теории, например к разделению синхронии и диахронии, фонетики и фонологии, которое снимается, когда соответствующие термины получают более точное определение. У некоторых независимых теорий выявились точки соприкосновения. <.....>

Неоднократно подчеркивалось, что отличительной чертой языкознания в течение всего XIX века и в начале XX века был его исключительно исторический характер. История как необходимая перспектива и смена фактов во времени как принцип объяснения, членение языка на изолированные элементы и исследование законов эволюции, присущих каждому из них, – таковы были основные положения лингвистической теории. Признавались, правда, за-

кономерности и совершенно иной природы, как, например, действие аналогии, могущей, как полагали, нарушать регулярность эволюции. Но в обычной научной практике грамматика языка сводилась к описанию происхождения каждого звука и каждой формы. Это было следствием одновременно и эволюционистского духа, которым были проникнуты тогда все науки, и особых условий, в которых зародилось языкознание. Новизна сосюрловской точки зрения, одной из тех, которые оказали глубочайшее влияние на лингвистику, заключалась в осознании того, что язык сам по себе лежит вне всякого исторического измерения, что он есть синхрония и структура и что он функционирует лишь в силу своего знакового характера. Этим взглядом отвергается не столько исторический подход, сколько «атомизирование» языка и «механизирование» его истории. Время не есть фактор эволюции языка, оно лишь рамки эволюции. Причины изменения, затрагивающего тот или иной элемент языка, лежат, с одной стороны, в природе элементов, которые составляют язык в каждый данный момент, с другой стороны – в структурных отношениях между этими элементами. Прямолинейная констатация факта изменения и его выражение в виде формулы соответствий уступают место сравнительному анализу двух последовательных состояний и двух различных, характеризующих каждое состояние взаимоотношений элементов. Диахрония, таким образом, оказывается восстановленной в своих законных правах как последовательность синхронии. Уже из этого вытекает первостепенная важность понятия системы и постоянно восстанавливаемой гармонии между всеми элементами языка.

Эти взгляды уже не новы, они ощущаются, в частности, во всем научном творчестве Мейе, и, хотя они не всегда применяются на деле, их не оспаривает уже больше никто. Если бы мы захотели исходя из этого охарактеризовать одним словом направление, в котором эти взгляды, по-видимому, развиваются в лингвистике сейчас, мы могли бы сказать, что они ознаменовали начало лингвистики, понимаемой как наука, в силу ее системности, автономности и тех целей, которые перед ней ставят.

Эта тенденция проявляется прежде всего в отказе от постановки некоторых типов проблем. Никто больше не занимается всерьез, вопросом о моногенезе или полигенезе языков, как и, в общей форме, вопросом об абсолютном начале языка. Теперь уже не поддаются так легко, как прежде, соблазну возвести особенности какого-либо языка или типа языков в универсальные свойства языка вообще. Это объясняется тем, что горизонты лингвистики раздвинулись. Все типы языков приобрели равное право представлять человеческий язык. Ничто в прошлой истории, никакая современная форма языка не могут считаться «первоначальными». <.....> С еще большим основанием лингвисты отказываются теперь от исследования той или иной избранной категории, обнаруженной у всех языков и долженствующей иллюстрировать якобы сходное предрасположение «человеческого духа», поскольку стало ясно, как трудно описать полностью даже систему одного отдельного языка и насколько рискованны структурные аналогии, установленные с помощью одних и тех же терминов. Следует придавать важнейшее значение этому расширению наших знаний о многообразии языков мира. Лингвисты извлекли из него ряд уроков. Так, первоначально казалось, что условия развития языка не различаются существенно в зависимости от уровней культуры и что при сравнении бесписьменных языков можно применять методы и критерии, оправдавшие себя для языков с письменной традицией. При новом подходе оказалось, что описание некоторых типов языков, в частности американоиндейских, ставит такие проблемы, которые не могут быть разрешены традиционными методами. Следствием этого явилось обновление методов анализа, что рикошетом отразилось и на языках, описанных, казалось бы, раз и навсегда: при описании новыми методами они обнаружили иной облик. Второе следствие: выяснилось, что набор морфологических категорий, каким бы обширным он ни казался, отнюдь не безграничен. Можно поэтому представить себе некоторую логическую классификацию этих категорий, которая показывала бы их соотношение и законы трансформации. Наконец – и здесь мы затрагиваем вопросы, значение которых выходит за пределы лингвистики, – начали осознавать, что «категории мысли» и «законы мышления» в значительной степени лишь отражение организации и дистрибуции категорий языка. Мы мыслим мир таким, каким

нам оформил его сначала наш язык. Различия в философии и духовной жизни стоят в неосознаваемой зависимости от классификации, которую осуществляет язык в силу одного того, что он язык и что он знаковое явление. Таковы некоторые проблемы, встающие перед ученым, который знаком с многообразием языковых типов, но, по правде говоря, ни одна из них не исследована еще достаточно глубоко.

Сказать, что лингвистика становится наукой, – значит не только подчеркнуть ее стремление к точности – это свойственно всем наукам. Дело заключается прежде всего в изменении ее отношения к своему объекту, которое можно определить как стремление к его формализации. Эта тенденция возникла под влиянием работ двух лингвистов: Соссюра в Европе и Блумфилда в Америке. Впрочем, их влияние осуществляется столь же различными путями, сколь несходны были книги, от которых оно исходило. Трудно себе представить более разительный контраст, чем различие между двумя трудами. «Курс общей лингвистики» Соссюра (1916) – книга, составленная после смерти автора на основе записей его учеников, совокупность гениальных идей, каждая из которых требует толкования, а некоторые до сих пор вызывают научные споры, она переносит язык в плоскость универсальной семиологии и открывает перспективы, которые современная философская мысль только начинает ощущать; и «Язык» Блумфилда (1933), ставший настольной книгой американских лингвистов, до конца продуманный и зрелый «textbook» – учебник, примечательный как полным отказом от философии, так и строгостью исследовательских приемов. Хотя Блумфилд и не упоминает Соссюра, он тем не менее, несомненно, подписался бы под положением Соссюра о том, что «единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя». Этот принцип объясняет тенденции, проявляющиеся в лингвистике повсеместно, хотя он и не говорит еще ничего о причинах, по которым она стремится к автономности, и о целях, которые она при этом преследует.

Несмотря на различия школ, перед теми лингвистами, которые пытаются привести свои научные позиции в систему, возникают сходные проблемы, которые можно сформулировать в виде трех основных вопросов 1) Какова задача лингвиста, с чем он имеет дело и что будет он описывать под названием языка? Речь идет, таким образом, о самом объекте лингвистики 2) Как описывать этот объект. Нужно создать приемы, которые позволили бы охватить совокупность характерных черт одного языка в совокупности реально существующих языков и описать их в идентичных терминах. На каком принципе должны быть основаны эти приемы и эти определения? Отсюда видно, какое важное значение приобретает техника лингвистического исследования. 3) По наивному представлению говорящего, как, впрочем, и для лингвиста, функцией языка является «сказать нечто». Что, собственно, представляет собой это «нечто», ради которого приводится в действие язык, и как определить его границы по отношению к самому языку? Возникает, таким образом, проблема значения.

Уже сами эти вопросы говорят о стремлении лингвистов освободиться от опоры (или равенства) на предвзятые принципы или положения смежных наук. Они отвергают все априорные взгляды на язык и создают понятия своей науки, исходя непосредственно из своего объекта. Такой подход должен положить конец зависимости, сознательной или бессознательной, в которой лингвистика находилась по отношению к истории, с одной стороны, и той или иной психологической теории – с другой. Если уж наука о языке должна выбирать себе образец для подражания, то им будут науки математические или дедуктивные, которые представляют свой объект в полностью рациональной форме, сводя его к совокупности объективных свойств, получающих постоянные определения. Из этого следует, что лингвистика будет становиться все более и более «формальной», по крайней мере в том смысле, что язык предстанет как некоторая совокупность всех своих наблюдаемых «форм». Беря за отправную точку естественное языковое выражение, лингвисты путем анализа производят точное расчленение каждого высказывания на составляющие его элементы, затем, с помощью дальнейших последовательных операций, членение каждого элемента на все более простые единицы. Цель этой процедуры состоит в выделении *дистинктивных (различительных)* единиц языка, я уже в этом заключается радикальное изменение метода. Если раньше объективность

исследователя состояла в глобальном описании, что влекло за собой одновременно принятие графической нормы для письменных языков и скрупулезную фиксацию всех произносительных деталей для устных текстов, то теперь стремятся выделить те элементы, которые являются дистинктивными на всех уровнях анализа. Для того чтобы их установить, а это всегда трудная задача, руководствуются принципом, который гласит, что **в языке есть только различия, что язык приводит в действие систему различительных средств.** Выделяют только те признаки, которые наделены смысло-различительной функцией, опуская – после того как они определены – те явления, которые представляют собой лишь варианты. Благодаря этому достигается большое упрощение и становится возможным обнаружить внутреннюю организацию и законы взаимодействия этих формальных элементов. **Каждая фонема и морфема оказывается существующей относительно каждой другой, будучи одновременно и отличной от всех других и зависимой от них; каждая ограничивает другие и ограничивается ими в свою очередь, взаимное различие и взаимная зависимость с необходимостью предполагают друг друга. Элементы образуют ряды и обнаруживают особый в каждом языке порядок. Это и есть структура, каждая часть которой существует лишь благодаря целому, в свою очередь существующему лишь в совокупности своих составных частей.**

Структура – один из важнейших терминов современной лингвистики, один из тех терминов, которые продолжают сохранять программное значение. Для тех, кто употребляет этот термин со знанием дела, а не просто следуя моде, он может означать две разные вещи. В частности, **в Европе под структурой понимают целое, состоящее из частей, и взаимозависимость между частями целого, которые взаимно обуславливают друг друга; для большинства американских лингвистов структура – это наблюдаемая расстановка элементов и их способность к взаимосвязи или взаимозамене.** Выражение «структурная лингвистика» получает поэтому различную интерпретацию, во всяком случае настолько различную, что операции, которые при этом имеются в виду, приобретают неодинаковый смысл. Лингвист-«блумфилдианец» под названием «структура» будет описывать фактически встретившееся ему в речи явление, которое он будет членить на составляющие элементы и давать определение каждому из этих элементов, исходя из того места, которое этот элемент занимает в составе целого, и того варьирования и взаимозамен, которые допустимы в том же месте речевой цепи. Понятия равновесия системы и тенденций системы, которые Трубецкой добавил к понятию структуры некоторые доказали свою плодотворность, он отвергнет, как запятнанные телеологией. Между тем это единственный принцип, позволяющий понять развитие языковых систем. **Каждое данное состояние языка представляет собой прежде всего результат известного равновесия между частями структуры, равновесия, которое, однако, никогда не приводит к полной симметрии, возможно потому, что асимметрия лежит в самой основе языка** в силу асимметрии произносительных органов. Взаимосвязь всех элементов приводит к тому, что всякое повреждение, нанесенное в одной точке, нарушает всю систему отношений и влечет за собой рано или поздно ее перестройку в новую систему. Поэтому диахронический анализ состоит в определении двух последовательных структур и установлении отношений между ними, а также в определении того, какие части предшествующей системы подверглись изменению или находились под угрозой его и как подготавливалось решение, осуществившееся в последующей системе. Благодаря этому оказывается разрешенным противоречие между синхронией и диахронией, которое столь горячо отстаивал Соссюр. **Эта концепция общей структуры дополняется понятием иерархии между элементами структуры.**

<.....>

Как бы то ни было, подобный анализ возможен только тогда, когда лингвист в состоянии полностью наблюдать, контролировать или варьировать по своей воле функционирование описываемого языка. Только живые языки, письменные или бесписьменные, предоставляют достаточно широкие возможности и достаточно надежный материал для проведения такого исследования с исчерпывающей точностью. Предпочтение отдается разговорным языкам. Некоторые ученые считают это условие необходимым по эмпирическим соображениям. Для других лингвистов, например американских, толчком к пересмотру методов описания, а за-

тем и общей теории послужила прежде всего необходимость записывать и анализировать индейские языки, языки сложные и многообразные. Но постепенно пересмотр принципов распространяется и на описания древних языков. Появляется даже возможность дать иную интерпретацию, в свете новых теорий, данным, которые были добыты сравнительно-историческим методом. <.....>

Понятно теперь, что преобладающим в последние годы типом исследования было системное описание, частичное или полное, того или иного конкретного языка, выполняемое с невиданным ранее вниманием к технике анализа. Лингвист ощущает необходимость обосновывать всю процедуру своего анализа, от начала до конца. Он предлагает аппарат определений с целью узаконить статус, который он находит у каждого из определяемых им элементов, а все операции излагаются эксплицитно, так чтобы они были доступны проверке на всех этапах анализа. Результатом этого явилась коренная перестройка терминологии. Используемые термины настолько специфичны для каждого направления, что начитанный лингвист с первых же строк узнает, к какому именно принадлежит то или иное исследование, а ход рассуждений иной раз становится понятным для представителей того или иного метода лишь тогда, когда они изложат его в своей собственной терминологии к описанию предъявляются требования эксплицитности и последовательности, а также отказа при анализе от использования значения, с привлечением только формальных критериев. <.....>

Подчеркнем еще раз это обстоятельство, которое даже больше, чем особая тщательность исследовательской техники, характерно для данного метода принципиально утверждается, что лингвистический анализ, чтобы быть подлинно научным, должен абстрагироваться от значений и ограничиться исключительно определением и дистрибуцией элементов. Требование строгости, предъявляемое к процедуре анализа, с необходимостью приводит к отказу от такого неуловимого, субъективного, не поддающегося классификации элемента, каким является значение, или смысл. Все, что возможно сделать, – это лишь удостовериться, что такое-то высказывание соответствует такой-то объективной ситуации, и, если повторение ситуации вызывает появление того же высказывания, между ними устанавливают корреляцию. Отношение между формой и смыслом сведено, таким образом, к отношению между языковым выражением и ситуацией, в терминах бихевиористской теории, причем выражение может быть одновременно и реакцией и стимулом. Значение фактически сводится к некоторой внешней обусловленности речи. Что касается отношения между языковым выражением и действительностью, то эту проблему предоставляют решать специалистам в области естественных наук. <.....>

Формализация частей высказывания таким способом угрожает снова привести к атомизации языка, потому что естественный язык представляет собой результат процесса знаковой символизации на нескольких уровнях, а анализ этого процесса еще даже не начат. Наблюдаемый языковой «материал» не есть поэтому первичная данность, которую остается лишь расчленить на составные части, это уже сложное целое, значимости которого возникают либо из индивидуальных свойств каждого элемента, либо из условий их соотношения, либо, наконец, из объективной ситуации. Поэтому возможны различные типы описания и различные типы формализации, но все они должны с необходимостью исходить из того, что их объект, язык, наделен значением, что именно благодаря этому он и есть структура и что это – основное условие функционирования языка среди других знаковых систем. Трудно представить себе, что дала бы сегментация культуры на дискретные элементы. В культуре, как и в языке, мы имеем совокупность знаков, и задача состоит в том, чтобы определить отношения между ними. До сих пор наука о культуре остается решительно и намеренно «наукой о субстанции». Окажется ли возможным выделить в системе культуры формальные структуры, подобные тем, которые Леви-Стросс ввел в системы родства? Будущее покажет. Во всяком случае, очевидна необходимость – для всех наук, оперирующих символическими формами, – изучения свойств знака. Исследования, начатые Пирсом (Peirce), не были продолжены, о чем приходится только сожалеть. Ведь именно прогресс в изучении знаков может способствовать лучшему пониманию сложных семантических процессов в языке, а возможно также, и за

пределами языка. И поскольку функционирование знаков является бессознательным, как бессознательна и структура поведения, то психологи, социологи и лингвисты могли бы с пользой объединить свои усилия в этой работе.

Кроме направления, которое мы охарактеризовали выше, следует упомянуть и другие. Получили распространение и иные теории, не менее последовательные. В психолингвистике Г. Гийома (G. Guillaume) языковая структура понимается как имманентная по отношению к реальному языку, и эта упорядоченная структура обнаруживается на основе выражающих ее фактов употребления. Теория, которую под названием «глоссематика» стремится утвердить Л. Ельмслев в Дании, представляет собой скорее построение логической «модели» языка и свод определений, чем средство исследования языковой действительности. Центральной идеей в ней, говоря в общих чертах, выступает идея соссюровского «знака», выражение и содержание которого (соответствующие «означающему» и «означаемому» у Соссюра) понимаются как два соотносительных плана, имеющих каждый «форму» и «субстанцию». Здесь происходит сближение лингвистики с логикой. В связи с этим намечается известное схождение наук, еще плохо знакомых друг с другом. В то время как те лингвисты, которые стремятся к строгости анализа, стараются заимствовать приемы и даже аппарат символической логики для своих формальных операций, оказывается, что и логики со своей стороны обратились к языковому «значению» и вслед за Расселом и Витгенштейном все больше интересуются проблемой языка. Их пути скорее пересекаются, чем совпадают, и логики, занимающиеся языком, не всегда могут завязать диалог с лингвистами. По правде говоря, лингвисты, которые хотели бы сделать изучение языка наукой, предпочитают обращаться к математике, они ищут скорее приемы записи материала, чем аксиоматический метод, и слишком легко поддаются соблазну некоторых новых исследовательских методик, например кибернетики или теории информации. Полезно было бы подумать о том, как применить в лингвистике некоторые из операций символической логики. Логика исследует условия истинности, которым должны удовлетворять высказывания, составляющие основу науки. Они отвергают «обычный» язык, как двусмысленный, неточный и неустойчивый, и стремятся создать полностью символический язык. Но предмет изучения лингвистов – как раз этот «обычный язык», его они рассматривают как данный и структура его исследуют во всей полноте. Для них представляло бы интерес попытаться использовать в анализе языковых классов всех порядков, которые они определяют, приемы, разработанные логикой множеств, для того чтобы выяснить, возможно ли установить между этими классами отношения, поддающиеся логической символизации. Тогда можно было бы получить хоть какое-то представление о типе логики, которая лежит в основе организации языка, стало бы ясно, одинаковы ли по природе типы отношений, свойственные обычному языку, и типы отношений, характеризующие язык научного описания, или, иными словами, как взаимно соотносятся язык поступков и язык разума. Недостаточно просто констатировать, что один поддается записи в системе логических символов, а другой не поддается или не поддается сразу и прямо, ведь факт остается фактом: тот и другой ведут свое происхождение из одного и того же источника и в основе их лежат в точности те же самые элементы. Эту проблему ставит сам язык.

Подобные размышления весьма далеко на первый взгляд уводят нас от проблем, которыми лингвистика занималась несколько десятилетий назад. Но в действительности эти проблемы вечны, хотя вплотную к ним подошли только сейчас. Напротив, в том, что касается контактов, которые лингвисты стремились тогда установить с другими областями науки, мы сталкиваемся сегодня с такими трудностями, о которых они и не подозревали. Мейе писал в 1906 году «Предстоит выяснить, какой социальной структуре соответствует данная языковая структура и как, в общей форме, изменения социальной структуры отражаются в изменениях структуры языка». Несмотря на несколько попыток, например Соммерфельта, эта программа не была осуществлена, потому что по мере того, как пытались последовательно сопоставлять язык и общество, стали обнаруживаться разногласия. Выяснилось, что соответствие языка и общества постоянно нарушается из-за диффузии как в языке, так и в социальной структуре, – диффузии, в силу которой общества, характеризующиеся одной и той же культурой, могут

обслуживаться гетерогенными языками, в то время как языки очень близкие могут быть формой выражения совершенно несхожих культур. Развивая эти наблюдения, лингвисты столкнулись с неизбежно возникающими проблемами анализа – языка, с одной стороны, культуры – с другой, – а также с проблемами «значения», общими для того и другого, короче говоря, с теми самыми проблемами, которые были названы выше. Из этого не следует, что программа исследований, указанная Мейе, невыполнима. **Задача состоит скорее в том, чтобы найти общую основу языка и общества, принципы, управляющие этими двумя структурами, определив сначала единицы, которые в языке и обществе соответственно поддаются сопоставлению, и отсюда попытаться вывести взаимозависимость.**

Можно, конечно, подойти к этому вопросу более просто, но при этом, по существу, происходит подмена проблем, так, например, можно изучать следы воздействия культуры на язык. На практике, однако, в этом случае занимаются только словарным составом. Речь, следовательно, идет уже не о языке, но о составе его словаря. <.....>

Таким образом, **можно констатировать повсеместно стремление подчинить лингвистику строгим методам**, изгнать из нее всякую приблизительность суждений, субъективные построения, философский априоризм. Лингвистические исследования становятся все более трудными в силу самих этих требований, а также и потому, что лингвисты увидели, что **язык – это сложный комплекс специфических свойств и описывать его нужно методами, которые еще предстоит создать.** Свойства языка настолько своеобразны, что можно, по существу, говорить о наличии у языка не одной, а нескольких структур, каждая из которых могла бы послужить основанием для возникновения целостной лингвистики. Осознание этого факта, быть может, поможет разобраться в существующих противоречиях. **Язык характеризуется прежде всего тем, что имеет всегда два плана означающее и означаемое.** Исследование уже только этого конституирующего свойства языка и отношений регулярности или дисгармонии, которые оно порождает, напряжений в системе и изменений, которые из этого проистекают в любом конкретном языке, могло бы послужить основанием для особой лингвистики. **Но язык – также феномен человеческий.** В человеке он связующее звено жизни психической и жизни общественно-культурной и в то же время орудие их взаимодействия. На основе этой триады терминов – язык, культура, человеческая личность – могла бы быть создана другая лингвистика. Язык можно также рассматривать как существующий целиком в совокупности членораздельных звукоиспусканий, которые составляют материал строго объективного изучения. Язык будет здесь объектом исчерпывающего описания, которое заключается в сегментации непосредственно наблюдаемых фактов. **Можно, напротив, считать язык, реализованный в регистрируемых высказываниях, необязательной манифестацией некоторой скрытой внутренней структуры.** В таком случае предметом лингвистики будет обнаружение и исследование этого недоступного непосредственному наблюдению механизма. Язык допускает также представление в виде «структуры игр», как набор «фигур», образованных имманентными отношениями постоянных элементов. При таком подходе лингвистика будет теорией возможных комбинаций этих элементов и теорией управляющих этими комбинациями универсальных законов. Можно представить себе как возможное исследование языка в качестве отрасли общей семиотики, покрывающей одновременно область психической жизни и жизни общественной. Тогда лингвист должен будет определить специфическую природу языковых знаков с помощью строгой формализации и особого метаязыка.

Этот перечень не исчерпывающий, он и не может быть таким. На свет могут появиться и другие концепции. Мы хотели здесь лишь показать, что за дискуссиями и провозглашениями того или иного принципа, краткий обзор которых мы дали, часто и не для всех лингвистов осознанно стоит заранее сделанный выбор – общие взгляды, определяющие отношение к объекту и природе метода. Не исключено, что все эти различные теории будут сосуществовать – хотя в той или иной точке их развития они неизбежно должны сомкнуться – вплоть до того момента, когда утвердится статус лингвистики как науки, – науки не об эмпирических фактах, но науки об отношениях и дедуктивных выводах, вновь обретающей единство своего внутреннего плана в бесконечном разнообразии языковых явлений.

ГЛАВА III СОССЮР ПОЛВЕКА СПУСТЯ

Фердинанд де Соссюр скончался 22 февраля 1913 года. Через 50 лет в тот же день мы собрались здесь, в его городе, в его университете, чтобы торжественно почтить его память. Личность этого человека обретает теперь подлинные черты и предстает перед нами в своем истинном величии. Ныне нет лингвиста, который не был бы хоть чем-то ему обязан. Нет такой общей теории, которая не поминала бы его имени. Его с ранних лет уединенную жизнь окружает некоторая тайна. Мы будем говорить здесь о его творчестве. Такому творчеству подобает лишь хвалебная речь, которая объяснит его истоки и его всеобщее влияние.

Сегодня мы воспринимаем Соссюра совсем иначе, чем его современники. Целая сторона его творчества, без сомнения самая важная, стала известна только после его смерти и мало помалу преобразила всю науку о языке. <.....>

Эти размышления объясняют, почему Соссюр считал столь важным показать лингвисту, «что он делает». Он хотел заставить понять то заблуждение, в котором пребывала лингвистика, с тех пор как она изучает язык как вещь, как живой организм или как некий материал, подлежащий анализу с помощью технических средств, или как свободную и непрерывную творческую деятельность – человеческого воображения. Нужно вернуться к первоосновам, открыть язык как объект, который не может быть сравним ни с чем.

Что же это за объект, который Соссюр воздвиг, сметя все принятые и установившиеся понятия? Здесь мы подошли к главному в соссюровской концепции – к принципу, который предполагает интуитивное глобальное понимание языка, глобальное и потому, что в нем целиком содержится его теория языка, и потому, что оно целиком охватывает свой объект. Этот принцип заключается в том, что язык, с какой бы точки зрения он ни изучался, всегда есть объект двойственный, состоящий из двух сторон, из которых одна существует лишь в силу существования другой.

Это, как мне кажется, центральный пункт учения Соссюра, тот принцип, из которого вытекает весь аппарат понятий и различий, образующий опубликованный позднее «Курс». В самом деле, все в языке необходимо определять в двойках терминах, на всем лежит печать оппозитивного дуализма:

- дуализм артикуляторно-акустический;
- дуализм звука и значения,
- дуализм индивида и общества,
- дуализм языка и речи,
- дуализм материального и несубстанциального;
- дуализм «ассоциативного» (парадигматики) и синтагматики;
- дуализм тождества и противопоставления;
- дуализм синхронического и диахронического, и т. д.

И, подчеркнем еще раз, ни один из противопоставленных таким образом терминов не имеет значимости сам по себе и не соотносится с субстанциальной реальностью, значимость каждого из них является следствием его противопоставленности другому.

«Конечный закон языка мы решаемся сформулировать в таком виде: никогда нет ничего, что могло бы заключаться в каком-либо одном термине, в силу прямого следствия из того, что у языковых символов нет связи с тем, что они призваны обозначать; в силу того, следовательно, что *a* неспособно ничего обозначить без помощи *v*, и это последнее – без помощи *a*, иначе говоря, или оба они имеют значимость только благодаря взаимному различию, или ни один из них ничего не значит даже в какой-то своей части (я имею в виду «корень» и т.п.), кроме как на основе этого переплетения вечно негативных различий».

«Поскольку язык ни в одном из своих проявлений не выявляет субстанцию, а лишь комбинированное или изолированное действие физиологических, психических, умственных факторов и поскольку, несмотря на это, все наши определения, вся наша терминология, все наши способы выражения сформировались при невольном допущении, что существует субстанция языка, нельзя не признать, что важнейшая задача теории языка – разобраться в том,

как обстоит дело с нашими первоначальными определениями. Для нас невозможно согласиться, что ученые имеют право возводить теорию без этой работы с определениями, хотя такой удобный способ, по-видимому, и удовлетворял лингвистов вплоть до нынешнего времени».

Разумеется, можно взять в качестве объекта лингвистического анализа какой-нибудь материальный факт, например отрезок высказывания, с которым не связывалось бы никакого значения, и рассматривать его как простой результат функционирования речевого аппарата; можно даже взять изолированный гласный.

Но было бы иллюзией полагать, что мы имеем здесь субстанцию: ведь только с помощью операции абстрагирования и обобщения мы и можем вычленить подобный объект изучения. Соссюр настаивал на том, что единственно точка зрения создает эту субстанцию. Все аспекты языка, которые мы считаем непосредственно данными, являются результатом бессознательно проделываемых нами логических операций. Осознаем же это. Откроем глаза на ту истину, что нет ни одного аспекта языка, который был бы дан помимо других, который можно было бы поставить над другими как исходный и главный. Отсюда следует такой вывод:

«По мере того как мы углубляемся в материал, данный нам для лингвистического изучения, мы все более убеждаемся в той истине, которая – бесполезно закрывать на это глаза – заставляет глубоко задуматься: **связь, которую мы устанавливаем между вещами, в данной области существует до самих вещей и служит их определению**».

Это кажущееся парадоксальным положение способно удивить еще и теперь. Некоторые лингвисты упрекают Соссюра за то, что он любит подчеркивать парадоксы в функционировании языка. Но язык и есть как раз самое парадоксальное в мире, и жаль тех, кто этого не видит. Чем дальше, тем больше будет чувствоваться контраст между единством как категорией нашего восприятия объектов и двойственностью, модель которой язык навязывает нашему мышлению. **Чем дальше мы будем проникать в механизм значения, тем лучше будем видеть, что вещи имеют значение не в силу их субстанциального бытия, а в силу отличающих их от других вещей того же класса формальных признаков, выявлять которые нам и надлежит**.

Из этих положений и вытекает то учение, которое ученики Соссюра оформили и опубликовали. Теперь скрупулезные комментаторы стремятся восстановить точное содержание лекций Соссюра с помощью всех тех материалов, которые они смогли найти. Благодаря их стараниям у нас будет критическое издание «Курса общей лингвистики», которое не только даст нам верное представление об этом учении, передававшемся в устной форме, но и позволит со всей строгостью установить соссюровскую терминологию.

Это учение в том или ином отношении питает всю теоретическую лингвистику нашего времени. Ее воздействие усиливается в результате слияния соссюровских идей с идеями других теоретиков. <.....>

Таким образом, **структуральная тенденция, наметившаяся с 1928 г. и затем выдвинувшаяся на первый план, берет свое начало от Соссюра**. Хотя он никогда не употреблял в теоретическом смысле термин «структура» (который, впрочем, став знаменем весьма различных течений, в конце концов лишился всякого точного содержания), для нас очевидна связь с Соссюром всех тех, кто ищет в отношениях между фонемами общую модель структуры языковых систем.

Полезно, пожалуй, в этой связи вспомнить об одной из структуральных школ, национальный характер которой наиболее ярко выражен, – об американской школе, постольку, поскольку она заявила о своей приверженности идеям Блумфилда. Не все знают, что Блумфилд написал хвалебный отзыв о «Курсе общей лингвистики»; в конце своей рецензии, ставя в заслугу Соссюру то, что он ввел различие *языка* и *речи*, Блумфилд говорит: «Он дал нам теоретическую основу науки о человеческой речи». При всем своеобразии своего дальнейшего пути американская лингвистика сохраняет связь с Соссюром.

Как все плодотворные идеи, соссюровская концепция языка порождала следствия, которые были замечены не сразу. Даже целая сторона его учения в течение длительного времени

почти не находила применения. Это касается трактовки языка как системы знаков и разложения знака на означающее и означаемое. Здесь содержался новый принцип – принцип двустороннего единства. В последние годы понятие знака стало обсуждаться лингвистами: до какой степени две стороны знака соответствуют друг другу, как это единство сохраняется или распадается в диахронии, и т.д. Предстоит обсудить еще многие пункты теории. В частности, для всех ли уровней пригодно понятие знака в качестве принципа анализа. Мы указывали в другом месте, что предложение, как таковое, не допускает сегментации на единицы типа знаков.

Но здесь мы хотим отметить важность самого этого принципа, согласно которому единица языка – знак. Отсюда следует, что язык – семиотическая система. «Задача лингвиста, – говорит Соссюр, – определить, что делает язык особой системой во множестве семиологических явлений... Для нас лингвистическая проблема есть прежде всего проблема семиологическая». Теперь же мы видим, как этот принцип, выйдя за рамки лингвистических дисциплин, проникает в науки о человеке, которые начинают осознавать свою семиотическую природу. И при этом понятие языка вовсе не растворяется в понятии общества, напротив, само общество начинает рассматриваться как «язык». Социологи задаются вопросом, не следует ли рассматривать определенные социальные структуры или, в другом плане, те сложные высказывания, какими являются мифы, как некие означающие, означаемые которых предстоит найти. Эти новаторские исследования дают основание думать, что присущая языку знаковая природа есть общее свойство всей совокупности социальных феноменов, которые составляют культуру.

Нам кажется, что следует остановить фундаментальное различие между явлениями двух разных порядков, с одной стороны, физическими и биологическими данными, обладающими «простой» природой (какова бы ни была степень их сложности), потому что они целиком лежат в той области, в которой они проявляются, а все их структуры формируются и развиваются по уровням, последовательно достигаемым в системе одних и тех же отношений, и с другой стороны – явлениями, присущими человеческой среде, которые характеризуются тем, что их никогда нельзя принять за простые данные и нельзя определить в рамках их собственной природы; их всегда следует рассматривать как двойственные, поскольку они соотносятся с другой вещью, каков бы ни был их «референт». Факт культуры является таковым лишь постольку, поскольку он отсылает к какой-то другой вещи. Когда наука о культуре оформится, она, вероятно, будет основываться на этом главном принципе и разрабатывать свои собственные двусторонние сущности, отправляясь от той их модели, какую дал Соссюр для двусторонних сущностей языка, хотя и не обязательно во всем с ней сообразуясь. Никакая гуманитарная наука не избегнет этих раздумий о своем объекте и своем месте внутри общей науки о культуре, ибо человек рождается не в природной среде, а в среде определенной культуры. <.....>

ГЛАВА IV ПОНЯТИЕ СТРУКТУРЫ В ЛИНГВИСТИКЕ

За последние двадцать лет, с тех пор как термин «структура» приобрел теоретический и в некотором роде программный смысл, он получил широкое распространение в лингвистике. Однако важнейшим понятием, которое определенным образом характеризует лингвистику, стал не столько сам термин *структура*, как образованное от него прилагательное *структурный* или *структуральный*. А оно быстро вызвало появление терминов *структурализм* и *структуралист*. Так возник целый комплекс названий, которые теперь и другие науки заимствуют из лингвистики, вкладывая в них свое собственное содержание. Сегодня, листая любой лингвистический журнал, обязательно встретишь один из этих терминов, часто в самом заглавии работы. Нетрудно видеть, что такому их распространению отчасти способствует желание быть «современным» и что за некоторыми декларациями «структуралистов» скрываются работы сомнительной новизны и ценности. Но цель данной статьи не в разоблачении злоупотреблений этим термином, а в разъяснении его употребления. Речь идет не о том, чтобы предписывать структуральной лингвистике ее сферу и ее границы, а о том, чтобы выяс-

нить, каким потребностям отвечал и какой смысл имел термин *структура* у тех лингвистов, которые первыми применили его в точном значении.

Принцип «структуры» как объекта исследования выдвинула в самом конце 20-х годов небольшая группа лингвистов, выступивших тем самым против господствовавшей тогда исключительно исторической точки зрения на язык и против такого языкознания, которое рассматривало язык на изолированные элементы и занималось изучением их исторических преобразований. Принято считать, что истоки этого течения связаны с учением Фердинанда де Соссюра в том виде, как оно было обобщено его женеvскими учениками и опубликовано под заглавием «Курс общей лингвистики». Соссюра по праву называют предтечей современного структурализма. И он действительно является таковым – во всем, кроме самого термина. При описании этого идейного течения нельзя подходить к вопросу упрощенно и следует подчеркнуть, что Соссюр никогда не употреблял слова «структура» в каком бы то ни было смысле. Для него самым существенным было понятие *системы*. Новизну его учения составляет именно идея о том, что язык образует систему, из этой идеи вытекают далеко идущие следствия, которые в течение долгого времени постепенно осознавались и развивались лингвистами «Курс» представляет язык именно как Систему, и эти формулировки следует запомнить: «Язык есть система, которая подчиняется только своему собственному порядку» (стр. 43); «Язык – это система произвольных знаков» (стр. 106); «Язык – это система, все части которой можно и должно рассматривать в их синхроническом единстве» (стр. 124). Соссюр в особенности утверждает примат системы по отношению к составляющим ее элементам: «Большое заблуждение рассматривать слово просто как соединение какого-то звучания с каким-то понятием. Определять слово подобным образом – значит изолировать его от системы, часть которой оно составляет; это означало бы, что, отправляясь от отдельных слов, можно построить систему как их сумму, тогда как на самом деле, наоборот, следует исходить из сложного единства, чтобы путем анализа дойти до составляющих его элементов» (стр. 157). Последняя фраза содержит в зародыше всю суть «структуральной» концепции. Но Соссюр во всех своих рассуждениях оперирует понятием *системы*.

Это понятие было знакомо парижским ученикам Соссюра задолго до появления «Курса общей лингвистики». Его несколько раз употребил Мейе, не преминув связать его с теорией своего учителя, о котором говорил, что «на протяжении всей своей жизни он всегда стремился установить систему в тех языках, которые он исследовал». Говоря, что «каждый язык представляет собой строго упорядоченную систему, где все взаимообусловлено», Мейе подчеркивает заслугу Соссюра, показавшего это на примере индоевропейского вокализма. К этой мысли Мейе возвращается снова и снова: «Всегда неправомерно объяснять отдельный факт вне системы данного языка в целом», «Язык представляет собой сложную систему средств выражения, где все взаимообусловлено». Граммон также отдает дань уважения Соссюру за то, что он показал, «что каждый язык образует систему, в которой все взаимообусловлено, в которой факты и явления определяют друг друга и потому не могут быть ни изолированными, ни противоречащими друг другу». Рассматривая вопрос о «фонетических законах», он утверждает «Изолированного фонетического изменения не существует. Совокупность артикуляций какого либо языка на деле образует систему, в которой все взаимообусловлено, все находится в тесной взаимосвязи. Из этого следует, что если в какой то части системы возникает изменение, то достаточно велика вероятность, что оно отразится на всей системе в целом, поскольку для последней сохранение целостности есть неперемное условие»

Таким образом, понимание языка как системы было давно уже усвоено теми, кто воспринял теорию Соссюра, сначала на материале сравнительной грамматики, затем – общей лингвистики. Если к этому добавить два других соссюровских принципа, а именно, что язык есть форма, а не субстанция, и что единицы языка можно определить только через их отношения, то тем самым мы укажем основные положения той доктрины, которая несколько лет спустя привела к появлению понятия *структуры* языковых систем. <.....>

Впервые эти взгляды были высказаны в изложенной по-французски программе по исследованию фонематических систем, которую три русских лингвиста – Р. Якобсон, С. Карцевский и Н. Трубецкой – представили 1-му Международному конгрессу лингвистов в Гааге в 1928 г. Эти ученые-новаторы заявили, что своими предшественниками они считают Соссюра и Бодуэна де Куртенэ. Но их взгляды приняли вполне самостоятельное развитие и в 1929 г. были изложены (на французском языке) в опубликованных в Праге тезисах к I Съезду славистов. Эти тезисы без личного авторства, ставшие настоящим манифестом, положили начало деятельности Пражского лингвистического кружка. В тезисах и появляется термин *структура*, содержание которого можно иллюстрировать несколькими примерами. В заглавии сказано «Проблемы метода в связи с пониманием языка как системы», а в подзаголовке «сравнение структурное и сравнение генетическое». Выдвигается требование «метода, позволяющего открыть законы структурной организации языковых систем и законы их эволюции». **Понятие «структура» тесно связывается с понятием «отношение» внутри системы:** «Физическое содержание этих фонологических элементов не столь существенно, как их взаимные отношения в системе (*структурный принцип фонологической системы*)»¹⁷ Отсюда выводится следующее правило метода: «Характеризовать фонологическую систему следует обязательно определяя отношения между вышеуказанными фонемами, т.е. намечая схему структуры в рассматриваемом языке»¹⁸ Эти принципы пригодны для исследования любой стороны языка, в том числе и для «лексических категорий, представляющих собой систему, объем которой, ее точное определение и внутреннюю структуру (взаимоотношения ее элементов) нужно выявлять для каждого языка в отдельности». Нельзя определить место какого-либо слова в лексической системе, и исследовав *структуру* данной системы». Термин «структура» употребляется и в некоторых других статьях чешских лингвистов (Матезиус, Гавранек), напечатанных на французском языке в том же сборнике, что и тезисы. Отметим, что в тех из приведенных нами цитат, где определения сформулированы наиболее полно, «структура» понимается как «структура системы». <.....>

Итак, речь идет о том, что **трактовать язык как систему – значит анализировать его структуру.** Поскольку каждая система состоит из единиц, взаимно обуславливающих друг друга, она отличается от других систем внутренними отношениями между этими единицами, что и составляет ее структуру. Одни комбинации встречаются чаще, другие реже, существуют, наконец, и такие комбинации, которые теоретически возможны, но никогда не реализуются. Исследовать язык (или каждую часть языка: фонетику, морфологию и т.д.) с целью обнаружить и описать структуру, организующую его в определенную систему, значит принять «структуралистскую» точку зрения. <.....>

В 1944 г. Луи Ельмслев, возглавивший журнал «Acta Linguistica» после кончины В. Брэндаля, заново определял область структурной лингвистики, указывая: «Под *структурной лингвистикой* мы подразумеваем комплекс исследований, опирающихся на гипотезу, согласно которой научно правомерным является описание языка как в своей сущности *автономного единства внутренних зависимостей*, или, выражая это в одном слове, как некоторой *структуры*... Последовательный анализ этой сущности позволяет выделять такие части, которые взаимно обуславливают друг друга и каждая из которых зависит от некоторых других и без этих других не была бы доступна ни восприятию, ни определению. Структурная лингвистика, таким образом, сводит свой объект к некоторой сетке зависимостей, рассматривая языковые факты как существующие в силу их отношений друг к другу».

Так появились в лингвистике слова «структура» и «структурный» в качестве специальных терминов.

Ныне же развитие лингвистических исследований привело к столь по-разному толкуемым разновидностям «структурализма», что один из сторонников этой доктрины прямо заявляет, что «под обманчивым общим названием «структурализм» объединяются школы, весьма различные по своему духу и тенденциям. Широкое употребление некоторых терминов, таких, как «фонема» и даже «структура», часто способствует лишь маскировке глубоких расхождений».

Одно из этих различий, и, без сомнения, самое показательное, можно констатировать между пониманием термина «структура» в американской лингвистике и определениями этого термина, приведенными здесь.

Мы ограничились здесь рассмотрением того, как употребляется термин «структура» в европейской лингвистической литературе на французском языке, и, подводя итог, наметим минимум признаков, необходимых для определения этого понятия. Основной принцип – это то, что язык представляет собой систему, все части которой связаны отношением общности и взаимной зависимости. Эта система организует свои единицы, то есть отдельные знаки, взаимно дифференцирующиеся и отграничивающиеся друг от друга. Структурная лингвистика ставит своей задачей, исходя из примата системы по отношению к ее элементам, выявлять структуру этой системы через отношения между элементами как в речевой цепи, так и в парадигмах форм; она демонстрирует органический характер испытываемых языком изменений.

Ролан Барт

СТРУКТУРАЛИЗМ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1963) (с купюрами)

Что такое структурализм? Это не школа и даже не течение (во всяком случае, пока), поскольку большинство авторов, обычно объединяемых этим термином, совершенно не чувствуют себя связанными между собой ни общностью доктрины, ни общностью борьбы. В лучшем случае дело идет о словоупотреблении: *структура* является уже старым термином (анатомистского и грамматистского происхождения), сильно истертым к настоящему времени: к нему охотно прибегают все социальные науки, и употребление этого слова не может служить чьим бы то ни было отличительным признаком – разве что в полемике относительно содержания, которое в него вкладывают; выражения *функции, формы, знаки* и *значения* также не отличаются специфичностью; сегодня это слова общего применения, от которых требуют и получают все, что пожелают; в частности, они позволяют замаскировать старую детерминистскую причинно-следственную схему. Вероятно, следует обратиться к таким парам, как *означающее – означаемое* и *синхрония – диахрония*, для того, чтобы приблизиться к пониманию отличий структурализма от других способов мышления; к первой паре следует обратиться потому, что она отсылает к лингвистической модели соссурианского происхождения, а также и потому, что при современном состоянии вещей лингвистика, наряду с экономикой, является прямым воплощением науки о структуре; на вторую пару следует обратить внимание еще более решительным образом, ибо она, как кажется, предполагает известный пересмотр понятия истории в той мере, в какой идея синхронии (несмотря на то, что у Соссюра она и выступает сугубо операциональным понятием) оправдывает определенную иммобилизацию времени, а идея диахронии тяготеет к тому, чтобы представить исторический процесс как чистую последовательность форм. По-видимому, речевой знак структурализма в конечном счете следует усматривать в систематическом употреблении терминов, связанных с понятием значения, а отнюдь не в использовании самого слова «структурализм», которое, как это ни парадоксально, совершенно не может служить чьим бы то ни было отличительным признаком; понаблюдайте, кто употребляет выражения *означающее* и *означаемое, синхрония* и *диахрония*, и вы поймете, сложилось ли у этих людей **структуралистское видение**.

То же самое справедливо и по отношению к интеллектуальному метаязыку, который открыто пользуется методологическими понятиями. Поскольку **структурализм не является ни школой, ни течением**, нет никаких оснований априорно (пусть даже предположительно) сводить его к одному только научному мышлению; гораздо лучше попытаться дать его по возможности наиболее широкое описание (если не дефиницию) на другом уровне, нежели уровень рефлексивного языка. В самом деле, можно предположить, что существуют такие писатели, художники, музыканты, в чьих глазах **оперирование структурой** (а не только мысль о ней) **представляет собой особый тип человеческой практики**, и что аналитиков и творцов следует объединить под общим знаком, которому можно было бы дать имя *структуральный*

человек; человек этот определяется не своими идеями и не языками, которые он использует, а характером своего воображения или, лучше сказать, *способности воображения*, иными словами, тем способом, каким он мысленно переживает структуру.

Сразу же отметим, что по отношению ко всем своим пользователям сам структурализм принципиально выступает как *деятельность*, то есть упорядоченная последовательность определенного числа мыслительных операций: можно, очевидно, говорить о структуралистской деятельности, подобно тому как в свое время говорили о сюрреалистической деятельности (именно сюрреализм, вероятно, дал первые опыты структурной литературы – к этому вопросу стоит вернуться). Однако прежде чем обратиться к этим операциям, нужно сказать несколько слов об их цели.

Целью любой структуралистской деятельности – безразлично, рефлексивной или поэтической – является *воссоздание* «объекта» таким образом, чтобы в подобной реконструкции обнаружились правила функционирования («функции») этого объекта. Таким образом, структура – это, в сущности, отображение предмета, но отображение направленное, заинтересованное, поскольку модель предмета выявляет нечто такое, что оставалось невидимым, или, если угодно, неинтеллигибельным, в самом моделируемом предмете. Структуральный человек берет действительность, *расчленяет* ее, а затем *воссоединяет* расчлененное; на первый взгляд, это кажется пустяком (отчего кое-кто и считает структуралистскую деятельность «незначительной, неинтересной, бесполезной» и т. п.). Однако с иной точки зрения оказывается, что этот пустяк имеет решающее значение, ибо в промежутке *между этими двумя объектами*, или двумя фазами структуралистской деятельности, рождается *нечто новое*, и это новое есть не что иное, как интеллигибельность в целом. Модель – это интеллект, приплюсованный к предмету, и такой добавок имеет антропологическую значимость в том смысле, что он оказывается самим человеком, его историей, его ситуацией, его свободой и даже тем сопротивлением, которое природа оказывает его разуму.

Мы видим, таким образом, почему следует говорить о структурализме как деятельности: *созидание или отражение не являются здесь неким первородным «отпечатком» мира, а самым настоящим строительством такого мира, который походит на первичный, но не копирует его, а делает интеллигибельным. Вот почему можно утверждать, что структурализм по самой своей сути является моделирующей деятельностью*, и именно в данном отношении, строго говоря, нет никакой *технической* разницы между научным структурализмом, с одной стороны, и литературой, а также вообще искусством – с другой: оба имеют отношение к *мимесису*, основанному не на аналогии между субстанциями (например, в так называемом реалистическом искусстве), а на аналогии функций (которую Леви-Стросс называет гомологией). <.....> Несуществен тот факт, что подлежащий моделирующей деятельности первичный объект предоставляется действительностью как бы в уже собранном виде (что имеет место в случае структурного анализа, направленного на уже сложившиеся язык, общество или произведение) либо, наоборот, в неорганизованном виде (таков случай структурной «композиции»). Несущественно и то, что этот *первичный объект берется из социальной или воображаемой действительности*, – ведь не природа копируемого объекта определяет искусство (стойкий предрассудок любых разновидностей реализма), а именно то, что вносится человеком при его воссоздании: исполнение является самой сутью любого творчества. Следовательно, именно в той мере, в какой цели структуралистской деятельности неразрывно связаны с определенной техникой, структурализм заметно отличается от всех прочих способов анализа или творчества: *объект воссоздается для выявления функций, и результатом, если можно так выразиться, оказывается сам проделанный путь*; вот почему следует говорить скорее о структуралистской деятельности, нежели о структуралистском творчестве.

Структуралистская деятельность включает в себя *две специфических операции – членение и монтаж*. Расчленив первичный объект, подвергаемый моделирующей деятельности, значит обнаружить в нем подвижные фрагменты, *взаимное расположение* которых порождает некоторый смысл; сам по себе подобный фрагмент не имеет смысла, однако он таков, что малейшие изменения, затрагивающие его конфигурацию, вызывают изменение целого; *квад-*

рат Мондриана, ряд Пуссера, строфа из «Мобиль» Бютора, «мифема» у Леви-Стросса, фонема у фонологов, «тема» у некоторых литературных критиков – все эти единицы (каковы бы ни были их внутренняя структура и величина, подчас совершенно различные) обретают значимое существование лишь на своих границах – на тех, что отделяют их от других актуальных единиц речи (но это уже проблема монтажа), а также на тех, которые отличают их от других виртуальных единиц, и вместе с которыми они образуют определенный класс (называемый лингвистами *парадигмой*). Понятие парадигмы является, по-видимому, существенным для уяснения того, что такое структуралистское видение: парадигма – это по возможности минимальное множество объектов (единиц), откуда мы запрашиваем такой объект или единицу, которые хотим наделить актуальным смыслом. Парадигматический объект характеризуется тем, что он связан с другими объектами своего класса отношением сходства или несходства: две единицы одной парадигмы должны иметь некоторое сходство для того, чтобы могло стать совершенно очевидным различие между ними... <.....> Операция членения, таким образом, приводит к первичному, как бы раздробленному состоянию модели, при этом, однако, структурные единицы отнюдь не оказываются в хаотическом беспорядке; еще до своего распределения и включения в континуум композиции каждая такая единица входит в виртуальное множество аналогичных единиц, образующих осмысленное целое, подчиненное высшему движущему принципу – принципу наименьшего различия.

Определив единицы, структуральный человек должен выявить или закрепить за ними правила взаимного соединения: с этого момента деятельность по запрашиванию сменяется деятельностью по монтированию. Синтаксис различных искусств и различных типов дискурса, как известно, весьма разнообразен; но что в равной мере обнаруживается во всех произведениях, созданных в соответствии со структурным замыслом, так это их подчиненность некоторым регулярным ограничениям; причем формальный характер этих ограничений, несправедливо ставившийся структурализму в упрек, имеет гораздо меньшее значение, чем их стабильность, поскольку на этой второй стадии моделирующей деятельности разыгрывается не что иное, как своего рода борьба против случайности. Вот почему критерии рекуррентности приобретают едва ли не демиургическую роль: именно благодаря регулярной повторяемости одних и тех же единиц и их комбинаций, произведение предстает как некое законченное целое, иными словами, как целое, наделенное смыслом; лингвисты называют эти комбинаторные правила *формами*, и было бы весьма желательно сохранить за этим истрепанным словом его строгое значение: форма, таким образом, это то, что позволяет отношению смежности между единицами не выглядеть результатом чистой случайности; произведение искусства – это то, что человеку удастся вырвать из-под власти случая. Сказанное, быть может, позволит понять, с одной стороны, почему так называемые нефигуративные произведения являются все же произведениями в самом точном смысле слова, ибо человеческая мысль подчиняется не аналогической логике копий и образцов, но логике упорядоченных образований, а с другой стороны – почему эти же самые произведения, в глазах тех, кто не различает в них никакой формы, выглядят как хаотические и тем самым никчемные... <.....>

Построенная таким образом модель возвращает нам мир уже не в том виде, в каком он был ей изначально дан, и именно в этом состоит значение структурализма. Прежде всего, он создает новую категорию объекта, который не принадлежит ни к области реального, ни к области рационального, но к области функционального, и тем самым вписывается в целый комплекс научных исследований, развивающихся в настоящее время на базе информатики. Затем, и это особенно важно, он со всей очевидностью обнаруживает тот сугубо человеческий процесс, в ходе которого люди наделяют вещи смыслом. Есть ли в этом что-либо новое? До некоторой степени, да; разумеется, мир всегда, во все времена стремился обнаружить смысл как во всем, что ему предзадано, так и во всем, что он создает сам; новизна же заключается в факте появления такого мышления (или такой «поэтики»), которое пытается не столько наделять целостными смыслами открываемые им объекты, сколько понять, каким образом возможен смысл как таковой, какой ценой и какими путями он возникает. В пределе можно было бы сказать, что объектом структурализма является не человек-носитель бесконечного

множества смыслов, а человек-производитель смыслов, так, словно человечество стремится не к исчерпанию смыслового содержания знаков, но единственно к осуществлению того акта, посредством которого производятся все эти исторически возможные, изменчивые смыслы. Homo significans, человек означающий, – таким должен быть новый человек, которого ищет структурализм.

По словам Гегеля, древние греки изумлялись *естественности* естества; они непрестанно вслушивались в него, вопрошая родники, горы, леса, грозы об их смысле; не понимая, о чем именно им говорят все эти вещи, они ощущали в растительном и космическом мире всепроникающий *трепет* смысла, которому они дали имя одного из своих богов – Пан. С той поры природа изменилась, стала социальной: все, что дано человеку, уже пропитано человеческим началом – вплоть до лесов и рек, по которым мы путешествуем. Однако находясь перед лицом этой социальной природы (попросту говоря – культуры), структуральный человек в сущности ничем не отличается от древнего грека: он тоже вслушивается в естественный голос культуры и все время слышит в ней не столько звучание устойчивых, законченных, «истинных» смыслов, сколько вибрацию той гигантской машины, каковую являет собой человечество, находящееся в процессе неустанный созидания смысла, без чего оно утратило бы свой человеческий облик. И вот именно потому, что такое производство смысла в его глазах гораздо важнее, нежели сами смыслы, именно потому, что функция экстенсивна по отношению к любым конкретным творениям, структурализм и оказывается не чем иным, как деятельностью, когда отождествляет акт создания произведения с самим произведением: додекафоническая композиция или анализ Леви-Стросса являются объектами именно в той мере, в какой они *сделаны*: их бытие в настоящем тождественно акту их изготовления в прошлом; они и суть предметы, изготовленные-в-прошлом. Художник или аналитик проделывает путь, ранее пройденный смыслом; им нет надобности указывать на него: их функция, говоря словами Гегеля, – это *manteia*; подобно древним прорицателям, они возвещают о месте смысла, но не называют его. И именно потому, что литература, между прочим, есть тоже своего рода прорицательство, она доступна и рациональному толкованию, и в то же время вопрошает, она говорит и безмолвствует, проникая в мир по той же самой дороге, которую проделал смысл и которую она заново проделывает вместе с ним, освобождаясь по пути от всех случайных смыслов, выработанных этим миром; для человека, который ее потребляет, она является ответом, по отношению же к природе продолжает оставаться вопросом: литература – это вопрошающий ответ и ответствующий вопрос.

Как же структуральный человек может принять упрек в ирреализме, который ему подчас предъявляют? Разве формы не существуют в самом мире, разве на формах не лежит ответственность? <.....> Структурализм не отнимает у мира его историю: он стремится связать с историей не только содержания (это уже тысячу раз проделывалось), но и формы, не только материальное, но и интеллигибельное, не только идеологию, но и эстетику. И именно потому, что любая мысль об исторической интеллигибельности неизбежно оказывается актом приобщения к этой интеллигибельности, структуральный человек весьма мало заинтересован в том, чтобы жить вечно: он знает, что структурализм – это тоже всего лишь одна из *форм* мира, которая изменится вместе с ним; и как раз потому, что структуральный человек проверяет пригодность (а отнюдь не истинность) своих суждений, мобилизуя способность говорить на уже сложившихся языках мира новым способом, ему ведомо и то, что достаточно будет возникнуть в истории новому языку, который заговорит о нем самом, чтобы его миссия оказалась исчерпанной.

Ролан Барт

ОТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ К ТЕКСТУ (1971) (с купюрами)

Известно, что за последние годы в наших представлениях о языке и, следовательно, о произведении (литературном), которое обязано языку уже своим существованием как феномен действительности, произошло (или происходит) определенное изменение. Это изме-

нение очевидным образом связано с новейшими достижениями таких дисциплин, как лингвистика, антропология, марксизм, психоанализ (слово «связано» имеет здесь нарочито нейтральный смысл: речь не идет о зависимости, будь то даже зависимость гибкая и диалектическая). Новый взгляд на понятие произведения возник не столько вследствие внутреннего обновления каждой из этих дисциплин, сколько вследствие их встречи друг с другом на уровне объекта, традиционно не подлежавшего ведению ни одной из них. Действительно, работа на стыке дисциплин, которой в науке придают сейчас важное значение, не может быть результатом простого сопоставления различных специальных знаний; это дело неизбежное, и по-настоящему (а не просто в виде благих пожеланий) оно начинается тогда, когда единство прежних дисциплин раскалывается – порой даже насильственно, с шумными потрясениями, обусловленными модой, – и уступает место новому объекту и новому языку, причем ни тот ни другой не умещаются в рамках наук, которые предполагалось тихо и мирно состыковать друг с другом; затруднения в классификации как раз и служат симптомом перемен. Перемены, коснувшиеся и понятия «произведения», не следует, однако, переоценивать: они – лишь часть общего эпистемологического сдвига (скорее именно сдвига, чем перелома), перелом же, как не раз отмечалось, произошел в прошлом веке, с появлением марксизма и фрейдизма; никаких новых решительных перемен с тех пор не последовало, так что в известном смысле можно сказать, что мы вот уже сто лет как заняты повторением пройденного. История – наша История – ныне позволяет нам лишь смещать и варьировать кое-какие представления, кое в чем идти дальше, кое от чего отказываться. Подобно тому как учение Эйнштейна требует включать в состав исследуемого объекта относительность системы отсчета, так и в литературе совместное воздействие марксизма, фрейдизма и структурализма заставляет ввести принцип относительности во взаимоотношения скриптора, читателя и наблюдателя (критика). В противовес произведению (традиционному понятию, которое издавна и по сей день мыслится, так сказать, по-ньютоновски), возникает потребность в новом объекте, полученном в результате сдвига или преобразования прежних категорий. Таким объектом является Текст. Понимаю, что слово это сейчас в моде (я и сам склонен его употреблять достаточно часто) и тем самым вызывает у некоторых недоверие; потому-то мне и хотелось бы сформулировать себе для памяти основные пропозиции, в пересечении которых и располагается, на мой взгляд, Текст. Слово «пропозиция», «предложение» следует здесь понимать скорее в грамматическом, чем в логическом смысле; это не доказательства, а просто высказывания, своего рода «пробы», попытки подхода к предмету, в которых допускается метафоричность. Ниже следуют эти пропозиции; они касаются таких вопросов, как «метод», «жанры», «знак», «множественность», «филиация», «чтение» и «удовольствие».

1. Текст не следует понимать как нечто исчислимое. Тщетна всякая попытка физически разграничить произведения и тексты. В частности, опрометчиво было бы утверждать: «произведение – это классика, а текст – авангард»; речь вовсе не о том, чтобы наскоро составить перечень «современных лауреатов» и расставить одни литературные сочинения *in*, а другие *out* по хронологическому признаку; на самом деле «нечто от Текста» может содержаться и в весьма древнем произведении, тогда как многие создания современной литературы вовсе не являются текстами. Различие здесь вот в чем: произведение есть вещественный фрагмент, занимающий определенную часть книжного пространства (например, в библиотеке), а Текст – поле методологических операций (*un champ méthodologique*). Эта оппозиция отчасти напоминает (но отнюдь не дублирует) разграничение, предложенное Лаканом: «реальность» показывается, а «реальное» доказывается; сходным образом, произведение наглядно, зримо (в книжном магазине, в библиотечном каталоге, в экзаменационной программе), а текст – доказывается, высказывается в соответствии с определенными правилами (или против известных правил). Произведение может поместиться в руке, текст размещается в языке, существует только в дискурсе (вернее сказать, что он является Текстом лишь постольку, поскольку он это сознает). Текст – не продукт распада произведения, наоборот, произведение есть шлейф воображаемого, тянущийся за Текстом. Или иначе: *Текст оуща-*

ется только в процессе работы, производства. Отсюда следует, что Текст не может неподвижно застыть (скажем, на книжной полке), он по природе своей должен *сквозь что-то* двигаться – например, сквозь произведение, сквозь ряд произведений.

2. Точно так же Текст не ограничивается и рамками добропорядочной литературы, не поддается включению в жанровую иерархию, даже в обычную классификацию. Определяющей для него является, напротив, именно способность взламывать старые рубрики. <.....> Текст делает проблематичной всякую классификацию (в этом и состоит одна из его «социальных» функций), так как он всякий раз предполагает, по выражению Филиппа Соллерса, познание пределов. Еще Тибодде (хотя и в более узком смысле) говорил о предельных, пограничных произведениях (такова, например, «Жизнь Раннее» Шатобриана, которая, действительно, ныне представляется нам «текстом»); а Текст – это и есть то, что стоит на грани речевой правильности (разумности, удобочитаемости и т. д.). Сказано это не для красного словца, не ради «героического» жеста; Текст пытается стать именно *запредельным по отношению к доксе* (чем еще определяется это расхожее общее мнение, составляющее, при мощном содействии средств массовой коммуникации, основу наших демократических обществ, как не своими пределами, своей энергией отторжения, своей *цензурой?*); можно сказать, что Текст всегда в буквальном смысле *парадоксален*.

3. Текст познается, постигается через свое отношение к знаку. Произведение замкнуто, сводится к определенному означаемому. Этому означаемому можно приписывать два вида значимости: либо мы полагаем его явным, и тогда произведение служит объектом науки о буквальных значениях (филологии), либо мы считаем это означаемое тайным, глубинным, его нужно искать, и тогда произведение подлежит ведению герменевтики, интерпретации (марксистской, психоаналитической, тематической и т. п.). Получается, что все произведение в целом функционирует как знак; закономерно, что оно и составляет одну из основополагающих категорий цивилизации Знака. В Тексте, напротив, означаемое бесконечно откладывается на будущее; Текст уклончив, он работает в сфере означающего. Означающее следует представлять себе не как «видимую часть смысла», не как его материальное преддверие, а, наоборот, как его *вторичный продукт* (après-coup). Так же и в бесконечности означающего предполагается не невыразимость (означаемое, не поддающееся наименованию), а *игра*; порождение означающего в поле Текста (точнее, сам Текст и является его полем) происходит вечно, как в вечном календаре, – причем не органически, путем вызревания, и не герменевтически, путем углубления в смысл, но посредством множественного смещения, взаимоналожения, варьирования элементов. Логика, регулирующая Текст, зиждется не на понимании (выяснении, «что значит» произведение), а на метонимии; в выработке ассоциаций, взаимосцеплений, переносов находит себе выход символическая энергия; без такого выхода человек бы умер. Произведение в лучшем случае *малосимволично*, его символика быстро сходит на нет, то есть застывает в неподвижности; зато Текст *всецело* символичен; *произведение, понятое, воспринятое и принятое во всей полноте своей символической природы, – это и есть текст*. Тем самым Текст возвращается в лоно языка: как и в языке, в нем есть структура, но нет объединяющего центра, нет закрытости. (К структурализму иногда относятся с пренебрежением, как к «моде»; между тем исключительный эпистемологический статус, признанный ныне за языком, обусловлен как раз тем, что мы раскрыли в нем *парадоксальность структуры* – это система *без цели и без центра*.)

4. *Тексту присуща множественность.* Это значит, что у него не просто несколько смыслов, но что в нем осуществляется сама множественность смысла как таковая – множественность *неустрашимая*, а не просто допустимая. В Тексте нет мирного сосуществования смыслов – Текст *пересекает их*, движется сквозь них; поэтому он не поддается даже плюралистическому истолкованию, в нем происходит взрыв, рассеяние смысла. Действительно, множественность Текста вызвана не двусмысленностью элементов его содержания, а, если мож-

но так выразиться, *пространственной многолинейностью* означающих, из которых он соткан (этимологически «текст» и значит «ткань»). Читателя Текста можно уподобить праздному человеку, который снял в себе всякие напряжения, порожденные воображаемым, и ничем внутренне не отягощен; он прогуливается... <.....> Его восприятия множественны, не сводятся в какое-либо единство, разнородны по происхождению – <.....> все эти случайные детали наполовину опознаваемы – они отсылают к знакомым кодам, но сочетание их уникально и наполняет прогулку **несходствами, которые не могут повториться иначе как в виде новых несходств**. Так происходит и с Текстом – он может быть собой только в своих несходствах (что, впрочем, не говорит о какой-либо его индивидуальности); **прочтение Текста – акт одноразовый** (оттого иллюзорна какая бы то ни было индуктивно-дедуктивная наука о текстах – у текста нет «грамматики»), и вместе с тем оно сплошь соткано из цитат, отсылок, отзвуков; все это языки культуры (а какой язык не является таковым?), старые и новые, которые проходят сквозь текст и создают мощную стереофонию. **Всякий текст есть между-текст по отношению к какому-то другому тексту, но эту интертекстуальность не следует понимать так, что у текста есть какое-то происхождение**; всякие поиски «источников» и «влияний» соответствуют мифу о филиации произведений, текст же образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем *уже читанных* цитат – из цитат без кавычек. Произведение не противоречит ни одной философии монизма (при том что некоторые из них, как известно, непримиримые враги); для подобной философии множественность есть мировое Зло. Текст же, в противоположность произведению, мог бы избрать своим девизом слова одержимого бесами (Евангелие от Марка, 5, 9): «Легион имя мне, потому что нас много». Текст противостоит произведению своей множественной, бесовской текстурой, что способно повлечь за собой глубокие перемены в чтении, причем в тех самых областях, где монологичность составляет своего рода высшую заповедь... <.....>

5. Произведение включено в процесс филиации. **Принимается за аксиому обусловленность** произведения действительностью (расой, позднее Историей), **следование произведений друг за другом, принадлежность** каждого из них своему автору. Автор считается отцом и хозяином своего произведения; литературоведение учит нас поэтому *уважать* автограф и прямо заявленные намерения автора, а общество в целом юридически признает связь автора со своим произведением (это и есть «авторское право» – сравнительно, впрочем, молодой институт, так как по-настоящему узаконен он был лишь в эпоху Революции). Что же касается Текста, то в нем нет записи об Отцовстве. Метафоры Текста и произведения расходятся здесь еще более. **Произведение отсылает к образу естественно разрастающегося, «развивающегося» организма** (показательно двойственное употребление слова «развитие» – в биологии и в риторике). **Метафора же Текста – сеть**; если Текст и распространяется, то в результате комбинирования и систематической организации элементов (впрочем, образ этот близок и к воззрениям современной биологии на живые существа). **В Тексте, следовательно, не требуется «уважать» никакую органическую цельность; его можно дробить** (как, кстати, и поступали в средние века, причем с двумя высокоавторитетными текстами – со Священным писанием и с Аристотелем), можно читать, не принимая в расчет волю его отца; при восстановлении в правах интертекста парадоксальным образом отменяется право наследования. Призрак Автора может, конечно, «явиться» в Тексте, в своем тексте, но уже только на правах гостя; автор романа запечатлевается в нем как один из персонажей, фигура, вытканная на ковре; он не получает здесь более никаких родительских, алетических преимуществ, а одну лишь игровую роль, он, так сказать, «автор на бумаге». Жизнь его из источника рассказываемых историй превращается в самостоятельную историю, которая соперничает с произведением; происходит наложение творчества писателя на его жизнь, а не наоборот, как прежде. Жизнь Пруста или Жене может читаться как текст благодаря их произведениям; слово «био-графия» обретает здесь свой буквальный, этимологический смысл; одновременно ложной проблемой становится искренность писателя, эта «крестная мука» всей литературной морали, – ведь «я», пишущее текст, это «я», существующее лишь на бумаге.

6. **Произведение обычно является предметом потребления**; я не хотел бы демагогически ссылаться на так называемую потребительскую культуру, но приходится все же признать, что ныне различия между книгами определяются «качеством» произведения (что в конечном счете подразумевает «вкусовую» оценку), а не способом чтения как таковым: в структурном отношении «серьезные» книги читаются так же, как и «транспортное чтение» (в транспорте). **Текст, нередко уже в силу своей «неудобочитаемости», очищает произведение (если оно само это позволяет) от потребительства и отцеживает из него игру, работу, производство, практическую деятельность.** Это значит, что Текст требует, чтобы мы стремились к устранению или хотя бы к сокращению дистанции между письмом и чтением, не проецируя еще сильнее личность читателя на произведение, а объединяя чтение и письмо в единой знаковой деятельности. <.....> Но одно дело *чтение* в смысле *потребление*, а другое дело – *игра* с текстом. Слово «игра» следует здесь понимать во всей его многозначности. *Играет* сам текст (так говорят о свободном ходе двери, механизма), и читатель тоже играет, причем двояко; он *играет в Текст* (как в игру), ищет такую форму практики, в которой бы он воспроизводился, но, чтобы практика эта не свелась к пассивному внутреннему *мимесису* (а сопротивление подобной операции как раз и составляет существо Текста), он еще и *играет Текст*. Не нужно забывать, что «играть» – также и музыкальный термин, а история музыки (как вида практики, а не как «искусства») довольно близко соответствует истории Текста; было время, когда «играть» и «слушать» составляли одну, почти не расчлененную деятельность...; затем одна за другой выделились две особые роли – сначала *исполнитель*, которого буржуазная публика отряжала для игры (хотя и сами буржуа еще худо-бедно музицировали: то был век фортепьяно), а затем любитель музыки (пассивный), который слушает музыку, не умея играть сам (и действительно, на смену фортепьяно пришли грампластинки). Как известно, в современной постсерийной музыке роль «исполнителя» разрушена – его заставляют быть как бы соавтором партитуры, дополнять ее от себя, а не просто «воспроизводить». **Текст как раз и подобен такой партитуре нового типа: он требует от читателя деятельного сотрудничества.** Это принципиальное новшество – ибо кто же станет исполнять произведение? (Таким вопросом задавался Малларме, желая, чтобы книгу *создавала* аудитория.) В наши дни произведение исполняет один лишь критик – как палач исполняет приговор. В том, что многие испытывают «скуку» от современного «неудобочитаемого» текста, от авангардистских фильмов или картин, очевидным образом повинна привычка сводить чтение к потреблению: человек скучает, когда он не может сам производить текст, играть его, разбирать его по частям, *запускать его в действие*.

7. С учетом этого можно полагать (предлагать) еще один, **последний, подход к Тексту – через удовольствие**. Не знаю, была ли до сих пор в эстетике хотя бы одна гедонистическая теория; даже в философии эвдемонистические системы встречаются редко. Конечно, произведение (некоторые произведения) тоже доставляет удовольствие... <.....> Однако такое удовольствие, при всей его интенсивности, даже полностью избавленное от любых предрассудков, все же остается отчасти удовольствием потребительским (разве что прилагать чрезвычайные усилия для его критики): ведь хотя я и могу читать этих авторов, я вместе с тем знаю, что не могу их *пере-писать* (что ныне уже невозможно писать «так»); одно лишь осознание этого довольно грустного факта отторгает меня от создания подобных произведений, причем такая отторгнутость и есть залог моей современности (быть современным человеком – не значит ли это досконально знать то, что уже нельзя начать сначала?). **Что же касается Текста, то он связан с наслаждением, то есть с удовольствием без чувства отторгнутости. Текст осуществляет своего рода социальную утопию в сфере означающего; опережая Историю (если только История не выберет варварство), он делает прозрачными пусть не социальные, но хотя бы языковые отношения; в его пространстве ни один язык не имеет преимущества перед другим, они свободно циркулируют (с учетом «кругового» значения этого слова).**

Данные пропозиции не обязательно должны стать моментами Теории Текста. Обусловлено это не только недостаточными познаниями того, кто их выдвигает (хотя в ряде случаев он воспользовался и исследованиями своих коллег). Это обусловлено тем, что теория Текста не исчерпывается метаязыковым изложением; составной частью подобной теории является разрушение метаязыка как такового или по крайней мере недоверие к нему (поскольку до поры до времени им, возможно, и придется пользоваться). Слово о Тексте само должно быть только текстом, его поиском, текстовой работой, потому что **Текст – это такое социальное пространство, где ни одному языку не дано укрыться и ни один говорящий субъект не остается в роли судьи, хозяина, аналитика, исповедника, дешифровщика; теория Текста необходимо сливается с практикой письма.**

Мишель Фуко

ПОРЯДОК ДИСКУРСА (1970) (с купюрами)

В речь, которую я должен произнести сегодня, равно как и в те, что мне, возможно, придется произносить здесь в течение многих лет, мне хотелось бы проскользнуть тайком. Вместо того, чтобы брать слово, я хотел бы, чтобы оно само окутало меня и унесло как можно дальше, за любое возможное начало. Я предпочел бы обнаружить, что в тот момент, когда мне нужно начинать говорить, мне давно уже предшествует некий голос без имени, что мне достаточно было бы лишь связать, продолжить фразу, поселиться, не спугнув никого, в ее промежутках, как если бы она сделала мне знак, задержавшись на мгновение в нерешительности. Вот тогда и не было бы начала; вместо того, чтобы быть тем, из кого речь проистекает, я был бы тогда, по прихоти ее развертывания, скорее незначительным пробелом, точкой ее возможного исчезновения. <.....>

У многих, я думаю, есть сходное желание – избежать необходимости начинать, желание обнаружить себя сразу по другую сторону дискурса – так, чтобы не пришлось извне рассматривать то, что он мог бы иметь необычного, опасного, возможно – пагубного. Принятое в обществе установление отвечает на это, такое распространенное желание в ироничном духе: оно делает всякие начала торжественными, окружает их вниманием и молчанием и предписывает им ритуализованные формы – словно для того, чтобы оповестить о них как можно раньше.

Желание говорит: “Мне не хотелось бы самому входить в этот рискованный порядок дискурса; мне не хотелось бы иметь дела с тем, что есть в нем окончательного и резкого; мне хотелось бы, чтобы он простирался вокруг меня, как спокойная, глубокая и бесконечно открытая прозрачность, где другие отвечали бы на мое ожидание и откуда одна за другой появлялись бы истины... <.....> Установление же отвечает: “Тебе нечего бояться начинать; мы все здесь для того и находимся, чтобы показать тебе, что дискурс размещен в порядке законов; что за его появлением давно уже следят; что ему было отведено такое место, которое **оказывает ему честь, но вместе с тем его и обезоруживает**; и что если ему и случается иметь какую-то власть, то получает он ее именно от нас и только от нас”.

Но, может быть, это установление и это желание – только два противоположных ответа на одно и то же беспокойство: беспокойство по поводу того, чем является дискурс в своей материальной реальности произнесенной или написанной вещи; беспокойство по поводу этого преходящего существования, существования, которое, конечно же, обречено быть стертým с лица земли, но за столь длительное время, что оно уже нам не подвластно; беспокойство из-за того, что за этой деятельностью, впрочем вполне обыденной и серой, чувствуются такие полномочия и опасности, которые мы плохо себе представляем; беспокойство из-за того, что за всеми этими словами, столь многочисленными и употреблявшимися столь долго, что суровость их уже не слышна, – за этими словами угадываются битвы, победы, раны, господство и рабство.

Но что уж такого опасного и губительного в том факте, что люди разговаривают и что их дискурсы бесконечно множатся? В чем тут опасность?

Вот гипотеза, которую я хотел бы предложить сегодня, чтобы очертить то место – или, быть может, весьма и весьма временную сцену той работы, которую я делаю. Я полагаю, что в любом обществе производство дискурса одновременно контролируется, подвергается селекции, организуется и перераспределяется с помощью некоторого числа процедур, функция которых – нейтрализовать его властные полномочия и связанные с ним опасности, обуздать непредсказуемость его события, избежать его такой полновесной, такой угрожающей материальности.

В обществе, подобном нашему, конечно же, известны **процедуры исключения**. Самая очевидная и самая привычная из них – это **запрет**. Нам хорошо известно, что говорить можно не все, говорить можно не обо всем и не при любых обстоятельствах, и, наконец, что не всякому можно говорить о чем угодно. Табу на объект, ритуал обстоятельств, привилегированное или исключительное право говорящего субъекта – здесь мы имеем дело с действием трех типов запретов, которые пересекаются, усиливают друг друга или компенсируют, образуя сложную решетку, которая непрерывно изменяется. Отмечу лишь, что в наши дни областями, где решетка эта наиболее уплотнена, где растет число черных клеточек, являются области сексуальности и политики. Как если бы дискурс, вместо того, чтобы быть тем прозрачным или нейтральным элементом, в котором сексуальность обезоруживается, а политика умиротворяется, являлся как раз одним из мест, где осуществляются, причем привилегированным образом, некоторые из наиболее опасных проявлений их силы. И напрасно дискурс предстает с виду чем-то малозначительным – запреты, которые на него накладываются, очень рано и очень быстро раскрывают его связь с желанием и властью. Да и что же в этом удивительного? Дискурс ведь – что и показал нам психоанализ – это не просто то, что проявляет (или прячет) желание, он также и то, что является объектом желания; и точно так же **дискурс** – а этому не перестает учить нас история – это не просто то, через что являют себя миру битвы и системы подчинения, но и **то, ради чего сражаются, то, чем сражаются, власть, которой стремятся завладеть**.

В нашем обществе существует и другой способ исключения: на этот раз не запрет, а **разделение и отбрасывание**. Я думаю о противопоставлении разума и безумия. Начиная с глубокого средневековья сумасшедший – это тот, чей дискурс не может циркулировать как дискурс других. Иногда считается, что его слово – недействительно: оно не обладает ни истинностью, ни значимостью, не может свидетельствовать в суде, не может заверить какой-либо акт или контракт, не может даже при жертвоприношении во время мессы позволить произойти пресуществлению хлеба в тело; но зато иногда случается, что это слово, в отличие от любого другого, наделяют странными полномочиями: выговаривать скрытую истину, вещать будущее, видеть, бесхитростно и наивно, то, что вся мудрость других не может воспринять. Любопытно констатировать, что в течение многих столетий в Европе слово сумасшедшего или вовсе не могло быть услышано, или же, если оно и бывало услышано, то не иначе как слово истины. <.....>

Мне скажут, что сегодня всему этому уже пришел или приходит конец; что слово сумасшедшего больше не находится по ту сторону границы; что оно больше уже не считается недействительным; что, напротив, оно завладело нашим вниманием, что мы ищем в нем некий смысл или, быть может, набросок либо руины некоего творения, что мы достигли умения подмечать его, это слово сумасшедшего, в том, что произносим сами, в той едва заметной брешке, через которую то, что мы говорим, от нас ускользает. Но такое внимание к речи сумасшедшего не доказывает, что прежнее разделение больше не действует; достаточно подумать обо всей той **арматуре знания, с помощью которой мы дешифруем** эту речь, обо всей той сети институтов, которая позволяет кому-нибудь – врачу, психоаналитику – слушать эту речь и которая позволяет в то же время пациенту прийти и принести или же, наоборот, отчаянно сдерживать свои жалкие слова, – достаточно подумать обо всем этом, чтобы заподозрить, что разделение вовсе не уничтожено, но только действует иначе: по другим направлениям, через новые институты и с совершенно иными последствиями. <.....>

Рассматривать оппозицию истинного и ложного как третью систему исключения наряду с теми, о которых я только что говорил, может показаться слишком смелым. Какое может быть разумное основание для сравнения принуждения, характерного для истины, с разделениями, о которых идет речь, – разделениями, которые являются поначалу произвольными, или, по крайней мере, организуются вокруг случайных исторических обстоятельств; которые не просто подвержены изменениям, но находятся в постоянном передвижении; которые поддерживаются целой системой институций, их предписывающих и их возобновляющих; которые, наконец, осуществляются не без принуждения и некоторой, по крайней мере, доли насилия.

Конечно, если расположиться на уровне высказывания, внутри какого-либо дискурса, то разделение между истинным и ложным не окажется ни произвольным, ни подверженным изменениям, ни связанным с какими бы то ни было институциями, ни насильственным. Но если принять другую точку отсчета, если поставить вопрос о том, какой была и какой она постоянно является, проходя через все наши дискурсы, – эта воля к истине, которая прошла через столько веков нашей истории; если спросить себя: каков, в самой общей форме, тот тип разделения, который управляет нашей волей к знанию, – мы увидим тогда, быть может, как вырисовывается нечто похожее как раз на систему исключения (систему историческую, подверженную изменениям, институционально принудительную).

Это разделение сложилось, несомненно, исторически. Еще у греческих поэтов VI века истинным дискурсом – в точном и ценностно значимом смысле, – истинным дискурсом, перед которым испытывали почтение и ужас, которому действительно нужно было подчиняться, потому что он властвовал, был дискурс, произнесенный, во-первых, в соответствии с надлежащим ритуалом; это был дискурс, который вершил правосудие и присуждал каждому его долю; это был дискурс, который, предсказывая будущее, не только возвещал то, что должно произойти, но и способствовал его осуществлению, притягивал и увлекал за собой людей и вступал, таким образом, в сговор с судьбой. Но вот век спустя наивысшая правда больше уже не заключалась ни в том, чем *был* дискурс, ни в том, что он *делал*, – она заключалась теперь в том, что он *говорил*: пришел день, когда истина переместилась из акта высказывания – ритуализованного, действенного и справедливого – к тому, что собственно высказывается: к его смыслу и форме, его объекту, его отношению к своему референту. Между Гесиодом и Платоном установилось определенное разделение, отделяющее истинный дискурс от дискурса ложного. Разделение – новое, поскольку отныне истинный дискурс не является больше чем-то драгоценным и желаемым и поскольку теперь уже дискурс не связан с отправлением власти. Софист изгнан.

Это историческое разделение придало, без сомнения, общую форму нашей воле к знанию. <.....>

Кроме того, эта воля к истине, как и другие системы исключения, опирается на институциональную поддержку: ее укрепляет и одновременно воспроизводит целый пласт практик, таких, как педагогика, или таких, конечно же, как система книг, издательского дела, библиотек, таких, как научные сообщества в прежние времена или лаборатории сегодня. Но, несомненно, более глубинным образом эта воля воспроизводится благодаря тому способу, каким знание используется в обществе, каким оно наделяется значимостью, распределяется, размещается и в некотором роде атрибутируется. Напомним здесь – в чисто символическом смысле – старый греческий принцип: занятием демократических городов вполне может быть арифметика, так как она учит отношениям равенства, но только геометрия должна преподаваться в олигархиях, поскольку она демонстрирует пропорции в неравенстве.

Я полагаю, наконец, что эта воля к истине, подобным образом опирающаяся на институциональную поддержку и институциональное распределение, имеет тенденцию – я говорю по-прежнему о нашем обществе – оказывать на другие дискурсы своего рода давление и что-то вроде принудительного действия. Я имею в виду здесь то, каким образом западная литература вынуждена была в течение веков искать опору в естественном, в правдоподобном, в искреннем, в науке, наконец, – словом, в истинном дискурсе. Я думаю также о том, каким об-

разом экономические практики, закодированные в виде предписаний или рецептов, в некоторых случаях – в виде морали, с XVI века стремились к обоснованию, рационализации и оправданию себя при помощи теории богатств и производства. Я думаю, наконец, о том, каким образом даже система, имеющая явно предписывающий характер, такая, скажем, как система уголовного права, искала свое основание, или свое оправдание, сначала, конечно, в теории права, потом, начиная с XIX века, в социологическом, психологическом, медицинском и психиатрическом знании – как если бы даже само слово закона в нашем обществе могло получить право на существование только благодаря истинному дискурсу.

Из трех важнейших систем исключения, которым подвержен дискурс: запрещенное слово, выделение безумия и воля к истине, – больше всего я говорил о третьей системе. Дело в том, что именно к ней в течение столетий непрестанно сводились две первые; дело в том, что она снова, и все больше и больше, пытается принять их на свой счет, чтобы одновременно и изменить их и обосновать; дело в том, что если первые две системы становятся все более и более непрочными и неопределенными по мере того, как они оказываются ныне или уже оказались пронизанными волей к истине, – сама эта воля непрерывно усиливается, становится все более глубокой, и ее все труднее обойти вниманием.

И, однако, именно о ней говорят менее всего. Как если бы сама истина в ее необходимом развертывании заслоняла для нас волю к истине и ее перипетии. Причина этого, возможно, следующая: если и в самом деле истинным дискурсом, начиная с греков, больше уже не является дискурс, который отвечает на желание или который отправляет власть, то что же тогда, если не желание и не власть, задействовано в этой воле к истине, в воле его, этот истинный дискурс, высказать? Истинный дискурс, который обязательностью своей формы избавлен от желания и освобожден от власти, не может распознать волю к истине, которая его пронизывает; а воля к истине, в свою очередь, – та, которая давно уже нам себя навязала, – такова, что истина, которую она волит, не может эту волю не заслонять.

Таким образом, перед нашими глазами предстает только истина – такая, которая была бы богатством, изобилием и силой, одновременно и мягкой и неявным образом универсальной. Но мы ничего не знаем о воле к истине – об этой удивительной машине, предназначенной для того, чтобы исключать. И именно те в нашей истории, кто снова и снова попытались так или иначе обойти это стремление к истине и поставить его под вопрос в противовес самой истине, и именно там, где истина берется оправдать запрет и определить безумие, – все они, от Ницше до Арто и до Батая, должны теперь служить нам знаками, безусловно недостижимыми, для каждодневной работы.

Существует, конечно, и множество других процедур контроля и отграничения дискурса. Те, о которых я говорил до сих пор, осуществляются в некотором роде извне; они функционируют как системы исключения и касаются, несомненно, той части дискурса, в которой задействованы власть и желание.

Можно, думаю, выделить и другую группу процедур – процедур внутренних, поскольку здесь контроль над дискурсами осуществляется самими же дискурсами. Это – процедуры, которые действуют скорее в качестве принципов классификации, упорядочивания, распределения, как если бы на этот раз речь шла о том, чтобы обуздать другое измерение дискурса: его событийность и случайность.

Речь идет в первую очередь о комментариях. Я полагаю, не будучи, впрочем, в этом вполне уверен, что вряд ли существует общество, где не было бы особо важных повествований, которые пересказываются, повторяются и варьируются; где не было бы формул, текстов, ритуализованных ансамблей дискурсов, которые произносятся соответственно вполне определенным обстоятельствам; где не было бы вещей, высказанных однажды, которые затем сохраняются, поскольку в них предполагают нечто вроде тайны или сокровища. Короче говоря, можно предположить, что во всех обществах весьма регулярно встречается своего рода разноуровневость дискурсов: есть дискурсы, которые “говорятся” и которыми обмениваются изо дня в день, дискурсы, которые исчезают вместе с тем актом, в котором они были высказаны; и есть дискурсы, которые лежат в основе некоторого числа новых актов речи, их

подхватывающих, трансформирующих или о них говорящих, – словом, есть также дискурсы, которые – по ту сторону их формулирования – бесконечно *сказываются*, являются уже сказанными и должны быть еще сказаны. Такие дискурсы хорошо известны в системе нашей культуры: это прежде всего религиозные и юридические тексты, это также весьма любопытные по своему статусу тексты, которые называют “литературными”; в какой-то мере это также и научные тексты.

Очевидно, что **это расслоение** не является ни прочным, ни постоянным, ни абсолютным. Не так, что, с одной стороны, есть какое-то число раз навсегда данных основных или порождающих дискурсов, а с другой – масса таких, которые их повторяют, толкуют, комментируют. Множество первичных текстов теряется и исчезает, и комментарии порой занимают их место. Но сколько бы ни менялись точки приложения функции, сама она сохраняется, и принцип расслоения оказывается вновь и вновь задействованным. Полное стирание этой разноравности не может быть не чем иным, как игрой, утопией или тоской. <.....>

Пока я хотел бы ограничиться указанием на то, что расслоение между первичным и вторичным текстом внутри того, что в целом называется комментарием, играет двоякую роль. С одной стороны, он позволяет строить (и строить бесконечно) новые дискурсы: превосходство первичного текста над другими, его неизменность, его статус дискурса, который всегда может быть вновь актуализирован, множественный или скрытый смысл, держателем которого он слышит, приписываемые ему, как сущностно для него важные, умолчание и богатство – все это открывает возможность говорить. Но, с другой стороны, роль комментария, какие бы техники при этом ни были пущены в ход, заключается лишь в том, чтобы сказать *наконец* то, что безмолвно уже было высказано *там*. Соответственно парадоксу, который комментарий постоянно перемещает, но избежать которого ему никогда не удастся, он должен высказать впервые то, что уже было сказано, и неустанно повторять то, что, однако, никогда еще сказано не было. <.....>

Я полагаю, что **существует и другой принцип разрежения дискурса**, до некоторой степени дополнительный к первому. **Речь идет об авторе – понимаемом, конечно, не как говорящий индивид, который произнес или написал текст, но как принцип группировки дискурсов, как единство и источник их значений, как центр их связности.** Принцип этот действует не везде и не всегда – вокруг нас существует множество дискурсов, которые обращаются без того, чтобы их смысл или действенность были получены ими от какого бы то ни было автора, которому их можно было бы приписать: это – повседневные разговоры, тотчас же испаряющиеся; это – декреты или контракты, которым необходимы, скорее, подписывающие стороны, но не автор; это, наконец, технические рецепты, которые передаются анонимно. Но и в тех областях, где принято приписывать текст автору, – таких, как литература, философия и наука, – атрибуирование это, как легко понять, далеко не всегда выполняет одну и ту же роль. <.....>

Автор – это то, что лишаящему покоя языку вымысла **дает формы его единства, узлы связности, прикрепление к реальности.** <.....>

Было бы абсурдно, конечно, отрицать существование пишущего и сочиняющего индивида. Но я думаю, что, по крайней мере, начиная с какого-то времени, индивид, приступающий к писанию текста, горизонтом которого маячит возможное произведение, принимает на себя определенную функцию автора... <.....>

Комментарий ограничивал случайность дискурса такой игрой *идентичности*, формой которой, похоже, были *повторение* и *тождественность*. Принцип же автора ограничивает ту же случайность игрой *идентичности*, формой которой являются *индивидуальность* и *я*.

Следовало бы также признать **еще один**, и к тому же – иной **принцип ограничения в том, что называют** не науками, а “дисциплинами”, – принцип также относительный и мобильный, принцип, **который позволяет конструировать, но с рядом ограничений.**

По способу организации дисциплины противостоят как принципу комментария, так и принципу автора. Принципу автора – потому, что **дисциплина определяется областью объектов, совокупностью методов и корпусом положений, которые признаются истинными,** равно

как и действием правил и определений, техник и инструментов: все это в целом составляет своего рода анонимную систему, которая находится в распоряжении тех, кто хочет или может ею воспользоваться, притом что ее смысл и ее правомочность никак не связаны с тем, кто оказался ее изобретателем. Но принцип дисциплины противостоит также и принципу комментария: в отличие от комментария то, что предполагается дисциплиной в исходной точке, – это не какой-то смысл, который должен быть заново открыт, равно как и не идентичность, которая должна быть воспроизведена, – это нечто такое, что требуется для построения новых высказываний. Для существования дисциплины необходимо, таким образом, чтобы была возможность формулировать – и формулировать бесконечно – новые положения.

Но тут и нечто большее – для того, несомненно, чтобы было нечто меньшее: дисциплина – это не просто сумма всего того, что может быть высказано истинного по поводу чего-либо; это даже не совокупность всего того, что может быть принято в отношении одних и тех же данных в силу принципа связности или систематичности. <.....>

Внутри своих границ каждая дисциплина признает истинные и ложные высказывания; но, кроме того, за свои пределы она выталкивает еще целую тератологию знания. Внешняя по отношению к науке область населена и больше и меньше, чем думают: вне науки лежит, конечно же, непосредственный опыт, создаваемые воображением темы, которые без конца производят и воспроизводят лишённые памяти верования. Быть может, там нет ошибок в строгом смысле, поскольку ошибка может возникнуть и разрешиться лишь внутри определенной практики. Зато там скитаются монстры, форма которых меняется вместе с историей знания.

Короче говоря, чтобы иметь возможность принадлежать дисциплине как целому, высказывание должно удовлетворять сложным и нелегким требованиям; прежде, чем его можно будет назвать истинным или ложным, оно должно быть, как сказал бы Кангилем, “в истинном”. <.....>

Дисциплина – это принцип контроля над производством дискурса. Она устанавливает для него границы благодаря игре идентичности, формой которой является постоянная реактуализация правил.

В плодовитости автора, в многочисленности комментариев, в развертывании той или иной дисциплины привыкли видеть по преимуществу бесконечные ресурсы для производства дискурсов. Может, это и так, но в не меньшей степени это также и принципы принуждения. И, вероятно, невозможно до конца отдать себе отчет в позитивной и умножающей роли перечисленных процедур, если не принять во внимание их функцию ограничения и принуждения.

* * *

Существует, я думаю, и третья группа процедур, позволяющих контролировать дискурсы. На этот раз речь идет вовсе не об овладении силами, которые они себе присваивают, или же о предотвращении случайности их появления, – речь идет о том, чтобы определить условия приведения их в действие, равно как и о том, чтобы навязать индивидам, эти дискурсы произносящим, некоторое число правил и сделать так, чтобы не всякому, кто захочет, был открыт к ним доступ. На этот раз, стало быть, речь идет о прореживании говорящих субъектов: в порядок дискурса никогда не вступит тот, кто не удовлетворяет определенным требованиям или же с самого начала не имеет на это права. Точнее было бы сказать, что не все области дискурса одинаково открыты и проницаемы; некоторые из них являются в высшей степени запретными (дифференцированными и дифференцирующими), в то время как другие кажутся открытыми почти что всем ветрам и предоставленными, без какого бы то ни было предварительного ограничения, в распоряжение любого говорящего субъекта. <.....>

Самая поверхностная и зримая форма этих систем ограничения конституируется тем, что можно было бы объединить под именем ритуала; ритуал определяет квалификацию, которой должны обладать говорящие индивиды (которые в игре диалога, вопрошания или повествования должны занимать вполне определенную позицию и формулировать высказыва-

ния вполне определенного типа); ритуал определяет жесты, поведение, обстоятельства и всю совокупность знаков, которые должны сопровождать дискурс; он, наконец, фиксирует предполагаемую или вменяемую действенность слов – их действие на тех, к кому они обращены, и границы их принудительной силы. Религиозные, юридические, терапевтические, а также частично – политические дискурсы совершенно неотделимы от такого выполнения ритуала, который определяет для говорящих субъектов одновременно и их особые свойства и отведенные им роли.

Несколько иным функционированием обладают “дискурсивные сообщества”, функцией которых является сохранять или производить дискурсы, но так, чтобы обеспечивалось их обращение в закрытом пространстве, чтобы можно было распределять их лишь в соответствии со строгими правилами и чтобы их владельцы не оказались лишены своей собственности самим этим распределением. Одна из архаических моделей такого функционирования известна нам по группам рапсодов, обладавшим знанием поэм, которые нужно было читать наизусть или, при случае, изменять и трансформировать; но это знание, хотя оно и предназначалось для сказывания, впрочем – ритуального, предохранялось, защищалось и удерживалось внутри определенной группы благодаря упражнениям памяти, зачастую очень сложным, которые это знание предполагало; обучение позволяло войти одновременно и в саму группу, и в тайну, которую оказывание обнаруживало, но не разглашало; роли говорения и слушания не были взаимозаменяемыми.

Конечно, сегодня почти не осталось подобных “дискурсивных сообществ” с этой двусмысленной игрой тайны и разглашения. Но не будем заблуждаться на сей счет: **даже внутри порядка истинного дискурса, даже внутри порядка дискурса, публикуемого и свободного от всякого ритуала, все еще действуют формы присвоения тайны и имеет место необратимость ролей.** Вполне возможно, что акт письма, как он институциализирован сегодня в форме книги, в системе издательского дела и в персонаже писателя, разворачивается в особом “дискурсивном сообществе”, существующем, быть может, неявно, но явно принудительном. Отличие писателя, без конца подчеркиваемое им самим, от деятельности любого другого говорящего или пишущего субъекта, тот непреходящий характер, которым наделяет он свой дискурс, то фундаментальное своеобразие, которое в течение уже долгого времени придает он “письму”, утверждаемая им асимметрия между “творчеством” и любым другим использованием системы языка, – все это обнаруживает, уже в самом том, как это формулируется (хотя, впрочем, есть также и тенденция снова ввести это все в игру практик), существование своего рода “дискурсивного сообщества”. Существует, однако, еще довольно много других подобных сообществ, функционирующих совершенно иным образом и в соответствии с иным режимом ограничений и разглашения, – вспомним о технических или научных секретах, о формах распространения и обращения медицинского дискурса; вспомним, наконец, о тех, кто присвоил себе экономический или политический дискурс.

На первый взгляд, нечто противоположное “дискурсивному сообществу” представляют собой “доктрины” (религиозные, политические, философские): в первом случае число тех, кто говорит, даже если и не было фиксировано, имело все же тенденцию к ограничению, и только между ними мог обращаться и передаваться дискурс. Доктрина же, напротив, стремится к распространению, и отдельные индивиды, число которых может быть сколь угодно большим, определяют свою сопринадлежность как раз через обобществление одного и того же корпуса дискурсов. Кажется, что единственным требуемым для этого условием является признание одних и тех же истин и принятие некоторого, в одних случаях – более, в других – менее гибкого правила соответствия имеющим законную силу дискурсам. Однако, если бы доктрины были связаны только с этим, они вовсе не так сильно отличались бы от научных дисциплин, и дискурсивный контроль был бы направлен только на форму и содержание высказывания, а не на говорящего субъекта. А ведь доктринальная принадлежность может ставить под сомнение как высказывание, так и самого говорящего субъекта, причем одно осуществляется через другое. Доктрина ставит под сомнение говорящего субъекта, исходя из высказывания и через него, о чем свидетельствуют процедуры исключения из сообщества и

механизмы отвержения, которые вступают в действие, когда какой-либо говорящий субъект формулирует одно или несколько не поддающихся ассимиляции высказываний; ересь и ортодоксия отнюдь не являются результатом фанатического гипертрофирования доктринальных механизмов, но принадлежат самой их сущности. Но и наоборот: отправляясь от говорящих субъектов, доктрина ставит под сомнение и высказывания в той мере, в какой она всегда значима как знак, обнаружение и средство некой предварительной принадлежности: классу, социальному статусу, расе или национальности, тому или иному интересу, борьбе или мятежу, сопротивлению или согласию. Доктрина связывает индивидов с некоторыми вполне определенными типами высказываний и тем самым накладывает запрет на все остальные; но, с другой стороны, она пользуется некоторыми типами высказываний, чтобы связывать индивидов между собой и тем самым отличать их от всех остальных. Доктрина совершает двойное подчинение: говорящих субъектов – определенным дискурсам и дискурсов – определенной группе, по крайней мере виртуальной, говорящих индивидов.

Наконец, для больших масштабов необходимо было бы признать наличие значительных расслоений в том, что можно было бы назвать **социальным присвоением дискурсов**. Сколько бы ни утверждалось, что образование по неотъемлемому праву является средством, открывающим для любого индивида в обществе, подобном нашему, доступ к дискурсу любого типа, – хорошо известно, что в своем распределении, в том, что оно позволяет и чего не допускает, образование следует курсом, который характеризуется дистанциями, оппозициями и социальными битвами. **Любая система образования является политическим способом поддержания или изменения форм присвоения дискурсов – со всеми знаниями и силами, которые они за собой влекут.**

Я вполне отдаю себе отчет в том, что разделять так, как я сделал это сейчас, речевые ритуалы, дискурсивные сообщества, доктринальные группы и формы социального присвоения, – это очень абстрактно. По большей части, все это связано друг с другом и образует разного рода большие конструкции, которые и обеспечивают распределение говорящих субъектов соответственно различным типам дискурсов, с одной стороны, и присвоение дискурсов определенным категориям субъектов – с другой. Одним словом, можно было бы сказать, что **все это – некие великие процедуры дискурсивного подчинения.** В конечном счете, что такое система образования, как не ритуализация речи, как не определение и фиксация ролей для говорящих субъектов, как не конституирование доктринальной группы, по крайней мере диффузной, как, наконец, не распределение и не присвоение дискурса с его силами и его знаниями? Или что такое “письмо” (письмо “писателей”), как не подобная же система подчинения, которая принимает, быть может, несколько иные формы, но главные линии расчленений которой – аналогичны? А юридическая система, а институциональная система медицины – разве и они тоже, по крайней мере в некоторых из своих аспектов, не образуют подобных систем дискурсивного подчинения?

* * *

Я спрашиваю себя, не появились ли некоторые темы философии в ответ на эти игры ограничений и исключений, а также, быть может, для того, чтобы их усилить. <.....>

Казалось бы, какая цивилизация более уважительно, чем наша, относилась к дискурсу? Где еще его столь почитали? Где еще его, казалось бы, так радикально освободили от принуждений и универсализировали? И, однако же, мне кажется, что за этим видимым глупым почтением к дискурсу, за этой видимой логофилией прячется своего рода страх. Все происходит так, как если бы запреты, заруды, пороги и пределы располагались таким образом, чтобы хоть частично овладеть стремительным разрастанием дискурса, чтобы его избыток было избавлено от своей наиболее опасной части и чтобы его беспорядок был организован в соответствии с фигурами, позволяющими избежать чего-то самого неконтролируемого; все происходит так, как если бы захотели стереть все, вплоть до следов его вторжения в игры мысли и языка. В нашем обществе, как впрочем, я полагаю, и во всех других, несомненно, существует, но только по-другому прочерченная и расчлененная, глубокая логофобия, своего

рода смутный страх перед лицом всех этих событий, перед всей этой массой сказанных вещей, перед лицом внезапного появления всех этих высказываний, перед лицом всего, что тут может быть неустойчивого, прерывистого, воинственного, а также беспорядочного и гибельного, перед лицом этого грандиозного, нескончаемого и необузданного бурления дискурса.

И при желании – я не говорю: уничтожить этот страх, но: проанализировать его вместе с его условиями, его игрой и его последствиями нужно, я думаю, **решиться на три вещи**, которым наша мысль сегодня все еще сопротивляется и которые соответствуют трем группам функций, мною только что упомянутым, – нужно **подвергнуть сомнению нашу волю к истине, нужно вернуть дискурсу его характер события и нужно лишить, наконец, означающее его суверенитета**.

* * *

Таковы задачи, или, скорее, некоторые из тем, направляющих работу, которую я хотел бы здесь выполнять в ближайшие годы. Можно сразу же наметить и некоторые требования метода, которые они за собой влекут.

Прежде всего – **принцип перевооружения**, там, где традиционно видят источник дискурсов, принцип их размножения и их непрерывности, во всех этих фигурах, играющих, как кажется, позитивную роль, таких, как фигуры автора, дисциплины, воли к истине и т.д., – во всем этом нужно разглядеть, скорее, негативную игру рассеивания и прореживания дискурса.

Но, распознав однажды эти принципы прореживания, перестав с какого-то момента смотреть на них как на основополагающую и творческую силу, – что же мы обнаруживаем под ними? Нужно ли допустить виртуальную полноту некоего особого мира – мира непрерывного дискурса? Вот здесь-то как раз и нужно привести в действие другие принципы метода.

Принцип прерывности: если и существуют системы прореживания, то это не означает, что где-то под ними, или по ту сторону их, царит некий великий безграничный дискурс, непрерывный и безмолвный, который будто бы оказывается ими подавлен или вытеснен, так что нашей задачей-де является помочь ему подняться, возвращая ему, наконец, слово. Не следует представлять себе здесь нечто не-сказанное и не-помысленное, что, обегая мир, сплетается со всеми своими формами и всеми своими событиями, как если бы речь шла о том, чтобы его, наконец, артикулировать или помыслить. **Дискурсы должно рассматривать как прерывные практики, которые перекрещиваются, иногда соседствуют друг с другом, но также и игнорируют или исключают друг друга**.

Принцип специфичности: не разлагать дискурс в игре предваряющих значений; не полагать, что мир поворачивает к нам свое легко поддающееся чтению лицо, которое нам якобы остается лишь дешифровать: мир – это не сообщник нашего познания, и не существует никакого пре-дискурсивного провидения, которое делало бы его благосклонным к нам*. **Дискурс, скорее, следует понимать как насилие, которое мы совершаем над вещами, во всяком случае – как некую практику, которую мы им навязываем**; и именно внутри этой практики события дискурса находят принцип своей регулярности.

И, наконец, четвертое правило – **правило внешнего**: идти не от дискурса к его внутреннему и скрытому ядру, к некой сердцевине мысли или значения, якобы в нем проявляющихся, но, беря за исходную точку сам дискурс, его появление и его регулярность, идти к внешним условиям его возможности, к тому, что дает место для случайной серии этих событий и что фиксирует их границы.

Следующие **четыре понятия, стало быть, должны служить регулятивным принципом анализа: понятие события, понятие серии, понятие регулярности, понятие условия возможности**. Они противопоставляются, соответственно: событие – творчеству, серия – единству, регулярность – оригинальности и условие возможности – значению. Эти четыре последние понятия (значение, оригинальность, единство, творчество) почти повсеместно господствовали в традиционной истории идей, где с общего согласия и искали место для творчества, ис-

кали единство произведения, эпохи или темы, знак индивидуальной оригинальности и безграничный кладезь сокрытых значений. <.....>

Таким образом, должны чередоваться, друг на друга опираясь и взаимно друг друга дополняя, критические описания и описания генеалогические. Критическая часть анализа связана с системами, оформляющими дискурс; она пытается выявить, очертить принципы упорядочивания, исключения, разрежения дискурса. Скажем, если допустить игру слов, что она практикует старательную непринужденность. Генеалогическая же часть анализа, в свою очередь, связана с сериями действительного образования дискурса: она пытается ухватить дискурс в его способности к утверждению, и под этим я понимаю не способность, которая противопоставлялась бы способности отрицать, но способность конституировать области объектов – таких, по поводу которых можно было бы утверждать или отрицать истинность или ложность высказывания. Назовем эти области объектов позитивностями; и скажем – позволив себе еще раз поиграть словами, – что, если критический стиль – это стиль усердной непринужденности, то генеалогическое настроение будет настроением удачливого позитивизма.

Так или иначе, но одну, по крайней мере, вещь подчеркнуть необходимо: так понимаемый анализ дискурса – это не разоблачение универсальности какого-то смысла; он выводит на свет игру навязанной разреженности при основополагающей способности утверждения. Разреженность и утверждение, разреженность, в конечном счете, утверждения, а вовсе не нескончаемые щедроты смысла, вовсе не монархия означающего.

А теперь пусть те, у кого пробелы в словаре, говорят – если петь эту песню им милее всего остального, – что вот это и есть структурализм. <.....>

Жиль Делез

ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ УЗНАЮТ СТРУКТУРАЛИЗМ? (1967) (с купюрами)

Спрашивали недавно; «Что такое экзистенциализм?». Теперь: «Что такое структурализм?». Эти вопросы имеют живой интерес, но при условии их актуальности, отнесенности к работам, которые находятся еще на пути к созданию. *Мы в 1967 году*. Стало быть, нельзя сослаться на незавершенный характер произведений, чтобы уйти от ответа: именно такой он и дает вопросу смысл. Однако с тех пор вопрос «что такое структурализм?» претерпел некоторые изменения. В первую очередь, кто структуралист? Есть привычки и в наиболее актуальном. Привычка указывает, отбирает, справедливо или нет, образцы: лингвиста, как Р. Якобсона; социолога, как К. Леви-Стросса; психоаналитика, как Ж. Лакана; философа, обновляющего эпистемологию, как М. Фуко; марксистского философа, занимающегося проблемой интерпретации марксизма, как Л. Альтюссера; литературного критика, как Р. Барта; писателей, как тех, кто объединился в группу «Тель Кель»... Одни не отказываются от слова «структурализм» и используют понятия «структура», «структурный». Другие предпочитают сосюрковский термин «система». Очень разные мыслители и разные поколения; некоторые оказали на своих современников реальное влияние. Но самым важным является крайнее разнообразие тех областей, в которых они осуществляют свои исследования. Каждый находит проблемы. Методы, решения, которые имеют аналогичные черты, как бы происходящие из вольного воздуха и духа этого времени, но которые также соразмерны открытиям и единичным творениям в каждой из этих областей. В этом смысле слова с «измом» вполне обоснованы.

Правильно считают лингвистику источником структурализма: не только Соссюра, но также Московскую школу и Пражский кружок. И если структурализм распространяется затем на другие области, то на этот раз речь идет не об аналогии: это происходит не для того, чтобы внедрить методы, «эквивалентные» имевшим ранее успех в анализе языка. В действительности существуют только языковые структуры, будь то эзотерический язык или даже невербальный. Структура бессознательного есть лишь в той мере, в какой бессознательное го-

ворит и является языком. Структура тела – лишь в той мере, в какой тела полагаются говорящими, с языком, являющимся языком симптомов. Даже вещи имеют структуру, поскольку они содержат в себе тихий дискурс, который представляет собой язык знаков. Тогда вопрос «что такое структурализм?» изменяется еще раз: скорее следует спрашивать, по чему узнают тех, кого называют структуралистами? И что узнают сами структуралисты? Ибо верно, что видимым образом людей узнают только в невидимых и неосязаемых вещах, которые они узнают по-своему. Что они делают, структуралисты, чтобы узнать язык в некоторой вещи – язык, присущий одной области? Что они находят в этой области? Мы предлагаем, таким образом, извлечь некоторые *формальные*, самые простые критерии узнавания и будем всякий раз приводить примеры из работ вышеназванных авторов, независимо от различия их проектов и сочинений.

1. первый критерий - символическое

Для нас является привычным, почти что безусловным, некоторое различие, или корреляция, между реальным и воображаемым. Вся наша мысль поддерживает диалектическую игру между этими двумя понятиями. Даже когда классическая философия говорит об уме или чистом рассудке, речь идет также о способности, определяемой своей пригодностью схватывать реальное в его основании, реальное «по истине», каково оно есть, в противоположность, но также в связи с силой воображения. Назовем совсем разные творческие движения: романтизм, символизм, сюрреализм... Они взывают то к трансцендентному пределу, где реальное и воображаемое проникают друг в друга и соединяются: то к остроте их границы как лезвию различия. В любом случае останавливаются на оппозиции и дополнительности воображаемого и реального: по крайней мере, такова традиционная интерпретация романтизма, символизма и т.д. Даже фрейдизм интерпретируется в перспективе двух принципов: принципа реальности с его силой разочарования и принципа удовольствия с его возможностью галлюцинаторного удовлетворения. С уверенностью можно сказать, что методы, которые использовали, например, Юнг и Башляр, целиком вписываются в реальное и воображаемое, в рамки их сложных отношений: трансцендентного единства и предваряющей напряженности, слияния и острия.

Первый же критерий структурализма – это открытие и признание третьего порядка, третьего царства: царства символического. Именно отказ от смешения символического с воображаемым и реальным является первым измерением структурализма. Здесь также все началось с лингвистики: по ту сторону слова в реальности его звуковых частей и по ту сторону связанных со словами образов и понятий, структуралистский лингвист открывает **элемент совсем иной природы – структурный объект.** <.....>

В психоанализе у нас есть уже много отцов: прежде всего реальный, но также и образы отца. И все наши драмы происходят в напряженности отношений между реальным и воображаемым. Жак Лакан открывает третьего, более фундаментального отца – символического, то есть Имя-отца. Не только реальное и воображаемое, но и отношения между ними и их расстройства должны пониматься как предел процесса, в котором они конституируются, исходя из символического. У Лакана и других структуралистов символическое в качестве элемента структуры является принципом генезиса: структура воплощается в реальности и образы согласно определенным сериям: более того, воплощаясь, она их конституирует, но она не производна от них, будучи более глубокой, являясь подпочвой под любым грунтом реального и любыми небесами воображения. Катастрофы внутри структурного порядка объясняют видимые расстройства реального и воображаемого... <.....>

Мы можем пронумеровать реальное, воображаемое и символическое: 1, 2, 3. Но, может быть, эти цифры имеют сколь порядковое, столь и количественное, более важное значение. **Реальное в себе самом неотделимо от некоторого идеала объединения и тотализации: реальное стремится к единице, оно является единицей по своей «истине».** Как только мы видим два в «единице», как только мы ее раздваиваем, появляется само воображаемое, даже если оно осуществляет свое действие в реальном. Например, реальный отец – это единица,

или желает быть таковой согласно своему закону; но образ отца всегда удваивается в самом себе, будучи расколотым по закону двойственного числа. Он проецируется, по меньшей мере, на две персоны: одна берет на себя игрового отца, отца-шута, другая – отца-труженика и идеального отца. Таков принц Уэльский у Шекспира, переходящий от одного образа отца к другому, от Фальстафа к короне. **Воображаемое определяется играми зеркала и перевернутым удвоением, отождествлением и проекцией, оно всегда дается двойным способом.** Но, возможно, **символическое, в свою очередь, есть тройка.** Оно не просто третья, по ту сторону реального и воображаемого. Всегда имеется третья, которое необходимо искать в самом символическом; **структура – это, по крайней мере, триада, она не «циркулировала» бы без этого третьего, одновременно ирреального, но, однако, и не воображаемого.**

Мы увидим, почему это так. Первый же критерий состоит в следующем: в полагании символического порядка, который не сводим ни к порядку реального, ни к порядку воображаемого и является более глубоким, нежели они. Мы пока еще не знаем, в чем заключается этот символический элемент. Но, по крайней мере, мы можем сказать, что соответствующая структура не имеет никакого отношения ни к чувственной форме, ни к образу воображения, ни к интеллигибельной сущности. Она не имеет ничего общего с *формой*, так как структура несколько не определяется автономностью целого, его богатством по сравнению с частями, гештальтом, который проявляется в реальном и в восприятии: наоборот, **структура определяется природой некоторых атомарных элементов, которым предначертано учесть одновременно формирование целостностей и вариацию их частей.** Она не имеет ничего общего с *образами* воображения, хотя структурализм весь проникнут рассуждениями о риторике, метафоре и метонимии; так как сами эти образы определены структурными перемещениями, которые учитывают сразу и прямой, и переносный смысл. **Она не имеет общего с сущностью;** так как речь идет о комбинационном единстве, относящемся к формальным элементам, которые сами по себе не имеют ни формы, ни значения, ни представления, ни содержания, ни данной эмпирической реальности, ни гипотетической функциональной модели, ни интеллигибельности по ту сторону видимости: никто лучше Луи Альтюссера не обозначил статус структуры как равный самой «Теории»: символическое следует понимать как производство исходного и специфического теоретического объекта.

Структурализм агрессивен когда он разоблачает повсеместное непризнание этой символической категории, по ту сторону воображаемого и реального. Он интерпретативен когда обновляет, исходя из этой категории, нашу интерпретацию произведений и претендует открыть исходный пункт, где производится язык, создаются эти произведения, откуда ведут свое начало идеи и действия. Романтизм, символизм, но также фрейдизм, марксизм, таким образом, становятся предметом глубоких новых трактовок. Более того, структуралистской интерпретации подлежат мифические, поэтические, философские и даже практические произведения. Но эта новая интерпретация годится лишь в той мере, в какой она вдохновляет на создание новых современных произведений – как если бы символическое было общим источником и интерпретации, и живого творчества,

2. второй критерий: локальное, или позиционное

В чем состоит символический элемент структуры? Мы чувствуем необходимость идти дальше, напомнив вначале, чем **символический элемент не является.** Отличный от реального и воображаемого, он не может определяться ни предшествующими реальностями, к которым он отсылал бы и которые бы обозначал, ни воображаемыми содержаниями, из которых он следовал бы и которые давали бы ему значение. **Элементы структуры не имеют ни внешнего обозначения, ни внутреннего значения.** Что же остается? Как вполне строго определяет Леви-Стросс, он не имеет ничего, кроме *смысла*: того смысла, который необходимо является **«позиционным»**, и это все. Речь не идет ни о месте внутри реальной протяженности, ни о местоположениях на воображаемых просторах, но о местоположениях в пространстве собственно структурном, то есть топологическом. Что является структурным – так это пространство, но пространство непротяженное, предсуществующее, чистый *spatium*, постепенно

конституируемый в качестве порядка соседства, где понятие соседства имеет прежде всего порядковый смысл, а не значение протяженности. Это как в генетике: гены составляют структуру, если только они неотделимы от мест, способных изменить отношения внутри хромосомы. Короче, места в чисто структурном пространстве первичны относительно реальных вещей и существ, которые их займут, а также относительно ролей и всегда немного воображаемых событий, которые необходимо появляются, когда места занимаются.

Научная амбиция структурализма – не количественная, но топологическая и реляционная: Леви-Стросс постоянно утверждает этот принцип. И Альтюссер, когда говорит об экономической структуре, уточняет, что «истинные» субъекты – не те, которые займут места, то есть конкретные индивиды, или реальные люди, и тем более истинные объекты – не роли, которых придерживаются люди, и не события, которые производятся, но прежде всего это места в топологическом структурном пространстве, определенном производственными отношениями. Когда Фуко определяет такие детерминации, как смерть, желание, труд, игра, то он рассматривает их не как измерения эмпирического человеческого существования, но прежде всего как наименования мест, или положений, которые делают занимающих эти места людей смертными и умирающими, желающими, работающими, играющими; но люди займут места только вторично, исполняя свои роли согласно порядку соседства, который является порядком самой структуры. Поэтому Фуко может предложить новую раскладку эмпирического и трансцендентального, где последнее определяется порядком мест вне зависимости от того, кто их займет эмпирически. Структурализм неотделим от новой трансцендентальной философии, где места берут верх над тем, что их заполняет. Отец, мать, т.д. суть прежде всего места в структуре; и если мы смертны, то вставая в вереницу и приходя в это место, отмеченное в структуре в соответствии с данным топологическим порядком соседства [даже в том случае, когда мы опережаем свой черед]. <.....>

Из этого локального, или позиционного, критерия вытекает несколько следствий. И прежде всего, если символические элементы не имеют ни внешнего обозначения, ни внутреннего значения, но только позиционный смысл, то следует признать принцип, согласно которому смысл всегда следует из комбинации элементов, которые сами по себе не являются означающими⁸. Как сказал Леви-Стросс в дискуссии с Полем Рикером, смысл – всегда результат, эффект: эффект не только в качестве продукта, но и как оптический, языковой, позиционный эффект. По существу, имеется бессмыслие смысла, результатом которого является сам смысл. Но тем самым мы не приходим к тому, что было названо философией абсурда. Ибо для этой философии важно, что имеется нехватка смысла. Для структурализма, наоборот, имеется слишком много смысла, сверхпроизводство, сверхдетерминация смысла, всегда производимого в избытке посредством комбинации места структуре. [Отсюда следует, например, то важное значение, которое Альтюссер придает понятию *сверхдетерминации*.] Бессмыслие совсем не является абсурдом или противоположностью смысла, но тем, что составляет смысл, производит его, циркулируя в структуре. Структурализм ничем не обязан Альберу Камю, но зато многим – Льюису Кэрролу.

Второе следствие – пристрастие структурализма к некоторым играм и театру, к неким пространствам игры и театра. Неслучайно, что Леви-Стросс часто ссылается на теорию игр и придает столько значения игральным картам. И Лакан – метафорам игры, которые суть больше, чем метафоры: не только хорея, который бежит в структуре, но и место смерти, циркулирующей в бридже. Самые благородные игры, вроде шахмат, выступают как такие, которые организуют комбинационность мест в чистом *spatium*, бесконечно более глубоко, нежели реальная протяженность шахматной доски и воображаемое распространение каждой фигуры. Или же Альтюссер прерывает свой комментарий Маркса для того, чтобы говорить о театре, но о таком, который не является ни реальностью, ни идеей, но чистым театром мест и положений, принцип которого есть у Брехта и который, быть может, сегодня находит свое самое яркое выражение у Армана Гатти. Короче, сам манифест структурализма следует искать в знаменитой формуле, высоко поэтической и театральной: мыслить – значит рисковать в броске игровой кости.

Третье следствие в том, что структурализм неотделим от нового материализма, нового атеизма и нового антигуманизма. Так как, если место первично относительного того, кто его занимает, то, конечно, недостаточно будет поставить человека на место Бога, чтобы изменить структуру. И если это место является местом смерти, то смерть Бога означает, к тому же, и смерть человека – мы надеемся, в пользу грядущего нечто, но это нечто может случиться только в структуре и посредством ее мутации. Так обнаруживается воображаемый характер человека (Фуко) или идеологический характер гуманизма [Альтюссер).

3. третий критерий: дифференциальное и единичное

Так в чем же состоят эти символические элементы, или позиционные единицы? Вернемся к лингвистической модели. То, что отлично и от звуковых частей слова, и от связанных с ним образов и понятий, называется фонемой. Фонема – наименьшая лингвистическая единица, способная различать два слова с разными значениями, например, глас и глаз. Ясно, что фонема воплощается в буквах, слогах и звуках, но она не сводится к ним. Более того, буквы, слоги и звуки предоставляют ей независимость, хотя в самой себе она неотделима от фонетического отношения, которое соединяет ее с другими фонемами: с/з Фонемы не существуют вне отношений, в которые они вступают и через которые взаимоотнопределяются.

Мы можем различать три типа отношений. Первый тип устанавливается между элементами, которые пользуются независимостью, или автономностью: например, $3+2$ или даже $2/3$. Элементы являются реальными, и эти отношения сами должны называться реальными. Второй тип отношений, например, $x^2 + y^2 - R^2 = 0$, устанавливается между терминами, значение которых не специфицировано, но, однако, эти термины должны в каждом случае иметь определенную величину. Такие отношения можно назвать воображаемыми. Но третий тип устанавливается между элементами, которые сами по себе не имеют никакой определенной величины и, однако, взаимоотнопределяются в отношении: так, $udy + xdx = 0$, или $dy/dx = -x/y$. Такие отношения являются символическими, а соответствующие элементы взяты в дифференциальном отношении. Ду совсем не определено относительно у, а dx – относительно x : каждый не имеет ни существования, ни величины, ни значения. И однако, отношение dy/dx является совершенно определенным, два элемента взаимно определяют в отношении. Именно этот процесс взаимной детерминации внутри отношения позволяет определить символическую природу. Бывает, ищут исток структурализма в направлении аксиоматики. И действительно, Бурбаки, например, использует слово «структура», но, как нам кажется, в очень далеком от структурализма смысле. Ибо речь идет об отношениях между неспецифицированными даже качественно элементами, но не об элементах, которые взаимно специфицируются в отношениях. В этом плане аксиоматика была бы только воображаемой, а не собственно символической. Исток структурализма следует, скорее, искать в дифференциальном исчислении, а именно в той интерпретации, которую ему дали Вейерштрасс и Рассел – статический и порядковой интерпретации, которая окончательно освобождает исчисление от всякой ссылки на бесконечно малое и интегрирует его в чистую логику отношений.

Детерминациям дифференциальных отношений соответствуют единичности [*singularities*], распределения единичных [*singuliers*] точек, которые характеризуют кривые линии или фигуры (например, треугольник с тремя единичными точками). Поэтому детерминация фонематических отношений, присущих данному языку, определяет единичности, в смежности которых конституируются созвучия и значения языка. Взаимная детерминация символических элементов продолжается, следовательно, в полной детерминации единичных точек, которые конституируют пространство, соответствующее этим элементам. Кажется, что главное понятие единичности, взятое буквально, принадлежит всем областям, где есть структура. Общая формула «мыслить – значит рисковать в броске игровой кости» сама отсылает к единичностям, представленным блестящими точками на костях. Любая структура представляет два следующих аспекта: систему дифференциальных отношений, по которым символические элементы взаимно определяют, и систему единичностей, соответствующую этим отношениям и очерчивающую пространство структуры. Любая структура есть множе-

ственность [multiplicite]. Вопрос о том, существует ли структура любой области, должен быть уточнен следующим образом: возможно ли, в той или иной области, извлечь символические элементы, дифференциальные отношения и единичные точки, которые ей присущи? Символические элементы воплощаются в реальные существа и объекты рассматриваемой области; дифференциальные отношения актуализируются в реальных отношениях между этими существами; единичности соотносятся с местами в структуре, распределяющими воображаемые роли или установки существ и объектов, которые их займут.

Речь не идет о математических метафорах. В каждой области надо найти элементы, отношения и точки. Когда Леви-Стросс предпринимает исследование элементарных структур родства, он имеет в виду не только реальных отцов в данном обществе или же образы отца, которые присутствуют в мифах этого общества. Он стремится открыть истинные фонемы родства, то есть *роднемы*, позиционные единства, которые не существуют независимо от дифференциальных отношений, куда они входят и где взаимно определяются. Именно так четыре отношения брат/сестра, муж/жена, отец/сын, племянник матери/сын сестры образуют простейшую структуру. И этой комбинационности «терминов родства» соответствуют, но без подобия и сложным образом, «установки между родителями», которые производят определенные единичности в системе. Можно также успешно идти обратным путем: исходить из единичностей, чтобы определить дифференциальные отношения между крайними символическими элементами. Именно так Леви-Стросс, беря в качестве примера миф об Эдипе, исходит из единичностей повествования [Эдип женится на матери, убивает отца, приносит в жертву сфинкса, получает имя толстоногого, т.д.) и затем индуцирует из них дифференциальные отношения между «мифемами», которые взаимноопределяются [отношения переоцененного родства, отношения обесцененного родства, отрицание автохтонии, стойкость автохтонии]⁹. Всегда, в любом случае символические элементы и отношения между ними определяют природу существ и объектов, которые из них следуют; тогда как единичности формируют порядок мест, который определяет одновременно роли и установки этих существ, поскольку они их занимают. Детерминация структуры завершается, таким образом, в теории установок, которые выражают ее функционирование.

Единичности соответствуют символическим элементам и их отношениям, но они им не подобны. Сказали бы, скорее, что они «символизируют» с ними. Они происходят из них, потому что любая детерминация дифференциальных отношений влечет за собой распределение единичных точек. <.....>

Рассмотрим интерпретацию марксизма Альтюссером и его группой: прежде всего производственные отношения определяются в качестве дифференциальных, устанавливающихся не между реальными людьми, или конкретными индивидами, но между объектами и агентами, имеющими символическую ценность [предмет производства, орудие производства, рабочая сила, непосредственный работник, непосредственный неработник, взятые в отношениях собственности и присвоения). Тогда каждый способ производства характеризуется единичностями, соответствующими характеру отношений. Очевидно, что конкретные люди займут места и осуществят элементы структуры, если будут исполнять ту роль, которая предназначена им структурным местом [например, роль «капиталиста»], и будут поддержкой структурных отношений: так что «истинные субъекты не оккупанты, занявшие места, и не эти функционеры... но определение и распределение этих мест и этих функций». Истинный субъект – это сама структура: дифференциальное и единичное, дифференциальные отношения и единичные точки, взаимная детерминация и детерминация полная.

4. четвертый критерий: различающее, различение

Структуры являются необходимо бессознательными – в силу составляющих их элементов, отношений и точек. Любая структура – это инфраструктура, или микроструктура. В некотором роде структуры не являются актуальными. Актуально то, в чем воплощается структура, или, скорее, что она конституирует в этом воплощении. Но сама по себе она ни актуальна, ни фиктивна; ни реальна, ни возможна. Якобсон ставит проблему статуса фонемы: по-

следняя не смешивается с актуальностью буквы, слога или звука: далее, она не фикция, ассоциированный образ. Возможно, слово «виртуальность» точно обозначит способ (существования) структуры, или теоретического объекта. При том условии, если это слово лишить всей неопределенности; так как виртуальное имеет собственную реальность, которая, однако, не смешивается ни с актуальной реальностью, ни с настоящей или прошлой актуальностью; оно обладает собственной идеальностью, которая не смешивается ни с возможным образом, ни с абстрактной идеей. Скажем о структуре: реальна, не будучи актуальной, и идеальна, не будучи абстрактной. Поэтому Леви-Стросс часто представляет структуру как разновидность резервуара или идеального каталога, где все сосуществует виртуально, но где актуализация с необходимостью происходит по исключительным направлениям, приводя к частным комбинациям и бессознательным выборам. Извлечь структуру области означает определить целиком виртуальность сосуществования, которая предшествует существам, объектам и произведениям данной области. Любая структура является множественностью виртуального сосуществования. Л. Альтюссер, например, в этом смысле показывает, что оригинальность Маркса (его антигегельянство) коренится в способе определения социальной системы через сосуществование экономических элементов и отношений, а не в их последовательном порождении согласно диалектической иллюзии.

Что сосуществует в структуре? Все элементы, отношения и значимости отношений, все единичности, свойственные рассматриваемой области. Такое сосуществование не влечет за собой никакой неясности, никакой неопределенности: именно дифференциальные отношения и элементы сосуществуют в совершенно определенном целом. Тем не менее это целое не актуализируется как таковое. То, что актуализируется здесь и теперь, – это такие-то отношения, такие-то значимости отношений, такие-то распределения единичностей; другие же актуализируются в другом месте или времени. Нет всеобщего языка, воплощающего все фонемы и фонематические отношения; но виртуальная всеобщность языка актуализируется по исключительным направлениям в различных языках, каждый из которых воплощает некоторые отношения, значимости отношений и единичности. Нет общества вообще, но каждая социальная форма воплощает некоторые элементы, отношения и значимости производства (например, «капитализм»). Итак, мы должны различать всеобщую структуру области в качестве ансамбля виртуального сосуществования и подструктуры, которые соответствуют различным актуализациям в данной области. О структуре как виртуальности мы должны сказать, что она еще не различена [indifferencíee], хотя совсем и полностью дифференцирована [differentíee]. О структурах, которые воплощаются в той или иной актуальной форме [настоящей или прошлой), мы должны сказать, что они различаются [se differentíent] и что для них актуализироваться означает именно различаться. Структура неотделима от этого двойного аспекта, комплекса, который можно обозначить именем дифференцирование / различение [differentiation / differencíation = different / ciation), где (t/c) образует универсально определенное фонематическое отношение.

Любое различение [differentíation], любая актуализация происходят двумя путями: виды и части. Дифференциальные отношения воплощаются в качественно различных видах, тогда как соответствующие единичности – в протяженных частях и фигурах, которые характеризуют каждый вид. Так, виды языков – и части каждого в соседстве единичностей лингвистической структуры; специфически определенные способы общественного производства – и организованные части, соответствующие каждому из этих способов, и т.д. Отметим, что процесс актуализации содержит всегда внутреннюю временность, которая изменяется в связи с тем, что актуализируется. Не только каждый тип общественного производства обладает внутренней глобальной временностью, но и его организованные части имеют частные ритмы. Позиция структурализма относительно времени является, таким образом, очень ясной: для него время – это всегда время актуализации, в течение которого в различных ритмах производятся элементы виртуального сосуществования. Время идет от виртуального к актуальному, то есть от структуры к ее актуализациям, а не от одной актуальной формы к другой. Или, по крайней мере, время, рассматриваемое как последовательное отношение двух акту-

альных форм, довольствуется тем, что выражает абстрактно внутренние времена структуры или же структур, протекающие в глубине этих двух форм, а также дифференциальные отношения между этими временами. И именно потому, что структура не актуализируется, не различаясь в пространстве и времени, не различая тем самым виды и части, которые ее осуществляют, мы должны сказать в этом смысле, что структура производит сами виды и части. Она их производит в качестве различаемых видов и частей. Так что больше нельзя противопоставлять генетическое структурному, а время – структуре. Генезис, как и время, идет от виртуального к актуальному, от структуры к ее актуализации; два понятия – внутренней множественной временности и статического порядкового генезиса - в этом смысле неотделимы от игры структур.

Надо настаивать на этой роли, способствующей различению [differenciateur]. Структура в себе самой является системой дифференциальных отношений и элементов; но также она различает виды и части, существа и функции, в которых она актуализируется. Она является дифференциальной в самой себе и способствующей различению в результате. Комментируя Леви-Стросса, Жан Пуйон определил проблему структурализма: можно ли выработать «систему различий [differences], которая не вела бы ни к их рядоположенности, ни к их искусственному стиранию?» <.....> Но именно здесь проходит граница между воображаемым и символическим: воображаемое стремится отразить и перегруппировать для каждого термина всеобщий результат совокупного механизма, тогда как символическая структура обеспечивает дифференцирование терминов и различение эффектов. Отсюда враждебность структурализма по отношению к методам воображаемого: критика Юнга Лаканом, критика Башляра «новой критикой». Воображаемое раздваивает и отражает, отбрасывает и отождествляет, теряется в играх зеркала, но различения, которые оно делает, как и уподобления, которыми оперирует, – это поверхностные эффекты, которые прячут весьма тонкие дифференциальные механизмы символической мысли. <.....>

Структуры бессознательны, поскольку с необходимостью скрыты своими продуктами или эффектами. Экономическая структура никогда не существует в чистом виде, но она скрывается за юридическими, политическими, идеологическими отношениями, в которых воплощается. Можно читать, находить и признавать структуры, лишь исходя из их эффектов. Термины и отношения, которые их актуализируют, виды и части, которые их производят, являются сколь помехами, столь и выражениями. <.....> Бессознательное структуры является дифференциальным. Можно также считать, что структурализм возвращается к дофрейдовской концепции: не понимает ли Фрейд бессознательное как способ конфликта сил или сопротивления желаниям, тогда как лейбницевская метафизика уже предложила идею дифференциального бессознательного малых восприятий? Но у самого Фрейда присутствует вся проблема начала бессознательного, его конституции как «языка», который превосходит уровень желания, ассоциируемых образов и отношений сопротивления. Наоборот, дифференциальное бессознательное состоит не из малых восприятии реального и переходов к пределу, но из вариаций дифференциальных отношений в символической системе в зависимости от распределений единичностей. Леви-Стросс имеет основание утверждать, что бессознательное – это не желание и не представление, что оно «всегда пусто» и состоит единственно из структурных законов, которые внушаются как представлениям, так и желаниям.

Дело в том, что бессознательное продолжает быть проблемой. Не потому, что его существование сомнительно. Но оно само ставит проблемы и вопросы, которые решаются в той мере, в какой соответствующая структура реализуется, причем решаются всегда в соответствии со способом этой реализации. Ибо проблема всегда имеет то решение, которое она заслуживает согласно способу постановки и символическому полю, которым располагают для того, чтобы ее поставить. Альтюссер может представлять экономическую структуру общества в качестве поля проблем, которые она ставит, которые ей определено поставить и которые она решает сообразно линиям различения, по которым актуализируется структура. Учитывая абсурд, низости и жестокости, которые эти «решения» содержат на основании данной структуры. Серж Леклер, следуя Лакану, также может различать психозы и неврозы,

затем сами невроты не столько по типам конфликтов, сколько по способам вопросов, которые всегда находят тот ответ, который заслуживают в зависимости от символического поля, где они ставятся: так, вопрос истерии не является вопросом одержимости. Во всем этом проблемы и вопросы указывают не на временной и субъективный момент в выработке нашего знания, а наоборот, на совершенно объективную категорию, полные и целые «объективности», которые суть объективности структуры. Структурное бессознательное является одновременно дифференциальным, проблематизирующим, вопрошающим. Оно является, наконец, мы этой сейчас увидим, серийным.

5. пятый критерий: серийное

Все это, однако, кажется еще неспособным функционировать. Дело в том, что мы смогли определить структуру только наполовину. Она начнет двигаться, оживляться, лишь если мы воспроизведем ее вторую половину. Действительно, определенные нами выше символические элементы, взятые в дифференциальных отношениях, с необходимостью организуются в серию. Но в качестве таковых они относятся к другой серии, созданной другими символическими элементами и другими отношениями: это отнесение ко второй серии легко объяснимо, если вспомним, что единичности происходят от терминов и отношений первой серии, но не довольствуются их воспроизводством и отражением. Следовательно, они сами организуются в другую способную к автономному развитию серию или, по крайней мере, с необходимостью относят первую к другой такой серии. Таковы фонемы и морфемы. Или экономическая серия и другие социальные серии. Или тройная серия Фуко – лингвистическая, экономическая, биологическая; и т.д. Вопросы о том, является ли первая серия базовой и в каком смысле, является ли она означающей, а другие – означаемыми, – сложные вопросы, природу которых мы пока еще не можем уточнить. Должны только констатировать, что любая структура серийна, мультисерийна и не функционирует без этого условия.

Когда Леви-Стросс предпринимает исследование тотемизма, то показывает, в чем состоит неудовлетворительное понимание этого феномена, поскольку его интерпретируют в терминах воображения. Так как *воображение* согласно своему закону с необходимостью понимает тотемизм как операцию, благодаря которой человек или группа отождествляют себя с животным. Но символически речь идет о совершенно ином: не о воображаемом отождествлении одного термина с другим, но о структурной гомологии двух серий терминов. С одной стороны, серия видов животных, взятых в качестве элементов дифференциальных отношений, с другой – серия самих социальных позиций, взятых символически в их собственных отношениях: конфронтация происходит «между этими двумя системами различий», двумя сериями элементов и отношений. <.....>

Ясно, что организация конститутивных серий структуры предполагает действительную постановку и требует в каждом случае оценок и точных интерпретаций. Не существует общего правила; здесь мы затрагиваем пункт, где структурализм содержит в себе то действительное творчество, то инициативу или открытие, которые случаются не без риска. Структура определяется не только выбором базовых символических элементов и дифференциальных отношений, в которые они входят; тем более не только распределением единичных точек, которые им соответствуют; но еще созданием по меньшей мере второй серии, которая поддерживает сложные отношения с первой. И если структура определяет проблемное поле, поле проблем, то это следует понимать в том смысле, что природа проблемы обнаруживает собственную объективность в этой серийной конституции, которая иногда приближает структурализм к музыке. <.....>

Но что мешает двум сериям просто отражать одна другую и так отождествить свои термины? Ансамбль структуры тогда оказался бы в положении фигуры воображения. Основания, предотвращающие такой риск, являются по видимости странными. Действительно, термины каждой серии неотделимы от вариации дифференциальных отношений. Для украденного письма министр во второй серии приходит на то место, которое королева имела в первой. В сыновней серии *Человека с крысами* бедная женщина занимает место друга по от-

ношению к долгу. Или в двойной серии птиц и близнецов, рассматриваемой Леви-Строссом, близнецы, являющиеся «людьми сверху» в отношении к людям снизу, с необходимостью занимают место «птиц снизу», а не птиц сверху, Это относительное перемещение двух серий совершенно не является вторичным; оно не влияет на термин извне и вторично, как будто для того, чтобы наделить его воображаемой обманчивой внешностью. Наоборот, перемещение является подлинно структурным, или символическим: оно по существу принадлежит местам в пространстве структуры и повелевает, таким образом, всеми воображаемыми маскировками существ и объектов, которые занимают эти места вторично. Поэтому структурализм уделяет столько внимания метафоре и метонимии. Последние несколько не являются фигурами воображения, но прежде всего структурными факторами. Это даже два структурных фактора, поскольку они выражают две степени свободы перемещения: от одной серии к другой и внутри одной и той же серии. Далеко не являясь воображаемыми, они препятствуют оживляемым сериям смешивать или раздваивать воображаемым образом свои термины. Но что же такое эти относительные перемещения, если они располагают места в структуре?

6. шестой критерий: пустая клетка

Кажется, что структура заключает в себе совершенно парадоксальный объект, или элемент. <.....> Такой объект всегда представлен в соответствующих сериях, он пробегает по ним и движется в них, не прекращает циркулировать и внутри них, и от одной к другой с исключительной ловкостью. Можно было бы сказать, что он является *своей собственной* метафорой, своей *собственной* метонимией. В каждом случае серии состоят из символических терминов и дифференциальных отношений; но он, кажется, имеет другую природу. Действительно, разнообразие терминов и вариация дифференциальных отношений определяются всякий раз по отношению к нему. Две серии структуры всегда являются расходящимися [в силу законов различения]. Но этот единичный объект представляет собой точку схождения серий, расходящихся в качестве таковых. Он является «в высшей степени» символическим, но именно потому, что имманентен двум сериям сразу. Как же назвать его, если не Объектом = x , загадочным объектом или великим Двигателем? Однако мы можем усомниться: особенная роль письма или долга, которую Лакан приглашает нас открыть в двух случаях, не является ли уловкой, строго применимой только к этим случаям, или же она означает действительно общий метод, пригодный для всех подлежащих структурированию областей, как если бы структура не определялась без объекта = x , который не прекращает бегать по ее сериям? Как если бы, к примеру, литературное произведение или произведение искусства, равно как и социальное творчество, болезненные действия и в целом творения жизни скрывали этот весьма особенный объект, который управляет их структурой. И как если бы речь шла всегда о том, чтобы обнаружить, кто есть H , или открыть x , скрытый в произведении. Так обстоит дело с песенками: припев имеет отношение к объекту = x , а куплеты образуют расходящиеся серии, по которым от циркулирует. Вот почему песни действительно представляют элементарную структуру.

Ученик Лакана Андре Греан обращает внимание на существование платка, который циркулирует в *Отелло*, пробегая по всем сериям пьесы. Также мы говорили о двух сериях принца Уэльского: Фальстафа, или отца-шута, и Генриха IV, или королевского отца, о двух образах отца. Корона является объектом = x , который пробегает по двум сериям терминов и дифференциальных отношений; момент, когда принц примеряет корону, хотя отец еще не умер, означает переход от одной серии к другой, изменение символических терминов и вариацию дифференциальных отношений. Умиравший старый король раздражается, считая, что сын раньше времени отождествляет себя с ним: однако сын может ответить и показать в своей блестящей речи, что корона – не объект воображаемого отождествления, но наоборот, в высшей степени символический термин, который пробегает по всем сериям – позорной серии Фальстафа и великой королевской – и позволяет переход от одной к другой внутри той же самой структуры. Мы видели, в чем состоит первое различие между воображаемым и символическим: способствующая различению роль символического противоположна спо-

собствующей уподоблению, отражающей, раздваивающей и удваивающей роли воображаемого. Но вторая граница между ними лучше видна в следующем: воображение, имеющее характер двойственного числа, противоположно Третьему, который существенным образом является посредником в символической системе, распределяет серии, перемещает их относительно друг друга, заставляя сообщаться, мешая одной перегнуться воображаемым образом в сторону другой.

Долг, письмо, платок или корона – природу этого элемента уточнил Лакан: он всегда смещен относительно самого себя. Ему свойственно находиться там, где его нет, и наоборот, не быть там, где его ищут. Скажем, что он «отсутствует на своем месте» [и тем самым не является какой-либо реальной вещью). Также он манкирует свое собственное подобие [и тем самым он не образ) и собственную тождественность (поэтому он не понятие). «То, что спрятано, не является просто тем, что *отсутствует на своем месте*, как сообщает нам об этом карточка для поиска тома, если тот затерялся в библиотеке. А в действительности он был на соседней полке или клетке, где он спрятался, каким бы видимым он ни казался. Дело в том, что можно говорить *буквально*, что книга отсутствует на своем месте, лишь исходя из того, что может это место изменить, то есть исходя из символического. Ибо что касается реального, то какие бы потрясения не происходили, оно продолжает быть тут и, во всяком случае, оно уносит свое место на собственных подошвах, ничего нее ведая о том, что могло бы удалить его с них». Если пробегаемые объектом =x серии необходимым образом представляют перемещения одной относительно другой, то потому, что *относительные* места их терминов внутри структуры зависят в любой момент прежде всего от *абсолютного* места каждого по отношению к объекту =x, всегда циркулирующего, перемещающегося относительно себя. Именно в этом смысле перемещение и вообще все формы обмена не являются приобретаемой извне характеристикой, но фундаментальным свойством, позволяющим определить структуру как порядок мест при вариации отношений. Вся структура изменяется этим изначальным Третьим, который, однако, манкирует свое собственное начало. Распределяя различия во всей структуре, заставляя изменять дифференциальные отношения с их перемещениями, объект = x образует различающее [le differenciant] самого различия.

Для игр требуется пустая клетка, без этого ничто не продвигалось и не функционировало бы. Объект = x не отличается от своего места, но этому месту все время надлежит перемещаться, как пустой клетке – непрерывно скакать. Лакан вспоминает *место смерти* в бридже. На замечательных страницах, открывающих *Слова и вещи*, Фуко, описывая картину Веласкеса, упоминает *место короля*, по отношению к которому все перемещается и скользит, Бог, потом человек, никогда не заполняя его. Нет структурализма без этой нулевой степени. Филипп Соллер и Жан-Пьер Фей любят вспоминать *слепое пятно*, как бы обозначающее эту всегда подвижную точку, которая предполагает ослепление, но исходя из которой письмо становится возможным, потому что там организуются серии в качестве истинных литерем (litterames). <.....>

Если верно, что структуралистская критика в качестве своей цели стремится определить в языке «виртуальности», которые предшествуют произведению, то само произведение является структурным, когда оно намеревается выразить свои собственные виртуальности. Льюис Кэррол и Джойс изобретали «слова-чемоданы», или, более широко, эзотерические слова, чтобы обеспечить совпадение вербальных звуковых серий и одновременность серий присоединенных историй. В *Поминках по Финнегану* это еще *буква*, которая является Космосом и которая соединяет все серии мира. У Льюиса Кэррола слово-чемодан соотначает [copote] по крайней мере две серии [разговаривать и кушать, вербальную и пищевую), которые сами могут разветвляться: таков Снарк. Заблуждением будет говорить, что подобное слово имеет два смысла; на самом деле оно иного порядка, нежели имеющие смысл слова. Оно является бессмыслием, которое оживляет по крайней мере две серии и наделяет их смыслом, циркулируя в них. Именно оно в своей вездесущности, вечном перемещении производит смысл в каждой серии, а также от одной серии к другой и не прекращает смещать обе серии. Оно является словом = x, поскольку обозначает объект = x, *проблематичный* объект. В каче-

стве слова = x оно пробегает определенную серию означающего; но в то же время будучи объектом = x, оно пробегает другую серию в качестве означаемого. Оно не прекращает одновременно углублять и восполнять разницу между двумя сериями: Леви-Стросс это показывает по поводу «мана», который он уподобляет словечку «трюк» или «махинация». Как мы видели, бессмыслие не является отсутствием значения, но наоборот, избытком смысла или тем, что снабжает смыслом означаемое и означающее. Смысл появляется здесь как результат функционирования структуры, в оживлении составляющих ее серий. И несомненно, слова-чемоданы являются лишь приемом, который наряду с другими обеспечивает эту циркуляцию. <.....> Наша цель заключается не в анализе ансамбля приемов, которые составляли и составляют современную литературу, играющую на всей топографии, типографии «книги будущего», но только в том, чтобы во всех случаях отметить эффективность этой пустой клетки–двуличной, являющейся сразу и словом, и объектом.

В чем же состоит этот объект = x? Является и должен ли он оставаться вечным загадочным объектом, *вечным двигателем*? Это был бы способ напомнить об объективной устойчивости, которую проблематичная категория имеет внутри структуры. И наконец, хорошо, что вопрос «по чему узнают структурализм?» ведет к положению о некотором предмете, который нельзя узнать и отождествить. Рассмотрим психоаналитический ответ Лакана: объект x определяется как фаллос. Но этот фаллос – не реальный орган, не серия ассоциированных образов, это символический фаллос. Однако именно о сексуальности здесь идет речь, а не о чем-то другом, в противоположность постоянно возобновляющимся набожным тенденциям в психоанализе, состоящим в том, чтобы отречься или минимизировать сексуальные отсылки. Но фаллос появляется не как сексуальное данное, не как эмпирическая определенность одного из полов, но как символический орган, который обосновывает *полностью всю* сексуальность в качестве системы, или структуры: по отношению к которому распределяются места, занимаемые переменным образом мужчинами и женщинами, а также серии образов и реальностей. При обозначении объекта = x как фаллоса речь не идет об отождествлении этого объекта, о сообщении ему тождества, которое несовместимо с его природой, ибо, наоборот, символический фаллос – это то, что манкирует свое собственное тождество, всегда находится там, где его нет, так как его нет там, где ищут, всегда перемещается относительно себя, со *стороны матери*. В этом смысле он то же, что письмо и долг, платок или корона, Снарк и «мана». Отец, мать, т.д. являются символическими элементами, взятыми в дифференциальных отношениях, но фаллос – совсем другое, это объект = x, который определяет относительное место элементов и переменную значимость отношений, делая из полностью всей сексуальности структуру. Именно в зависимости от перемещений объекта = x изменяются отношения в качестве отношений между конститутивными «частными импульсами» сексуальности.

Очевидно, фаллос не дает окончательного ответа. Это скорее даже место вопроса, «запроса», который характеризует пустую клетку сексуальной структуры. Вопросы, как и ответы, изменяются согласно рассматриваемой структуре, но никогда они не зависят ни от наших предпочтений, ни от порядка абстрактной причинности. Ясно, что пустая клетка экономической структуры в качестве товарообмена должна определяться совсем иначе: она состоит в некоем «нечто», которое не сводится ни к терминам обмена, ни к самому меновому отношению, но которое создает в высшей степени символического третьего, находящегося в вечном перемещении, в зависимости от которого будут определяться вариации отношений. Таковой является *стоимость* как выражение «труда вообще», по ту сторону любого эмпирически наблюдаемого качества, как место вопроса, который пересекает или пробегает по экономической структуре.

Отсюда вытекает более общее следствие, касающееся различных «порядков». Несомненно, не следует в структуралистской перспективе воскрешать следующую проблему: существует ли структура, которая определяет в последней инстанции все прочие? Например, что первично, стоимость или фаллос, экономический фетиш или фетиш сексуальный? По многим основаниям эти вопросы не имеют смысла. Все структуры являются базами [infra-

structures]. Порядки лингвистических, семейных, экономических, сексуальных и других структур характеризуются формой их символических элементов, разнообразием их дифференциальных отношений, видом их единичностей, и, наконец и особенно, – природой объекта = x , который правит их функционированием. Однако, мы можем установить линейный причинный порядок связи одной структуры с другой, лишь сообщая объекту = x тождественность, с чем он по сути несовместим. **Для структур существует только структурная причинность.** Конечно, в каждом порядке структуры объект = x нисколько не является неузнаваемым и не определяемым правильно; он вполне определим, в том числе в своих перемещениях и благодаря способу перемещения, его характеризующего. Просто он не является точно определяемым: другими словами, он не фиксируется в одном месте, не отождествляется с одним видом или родом. Дело в том, что он сам конституирует крайний род структуры или свое всеобщее место: существует тождественность, лишь чтобы маскировать эту тождественность, а место – лишь чтобы перемещаться относительно любого места. Тем самым объект = x для каждого структурного порядка является пустым или продырявленным местом, которое позволяет этому порядку сочленяться с другими в том пространстве, которое включает столько же направлений, сколько порядков. Структурные порядки сообщаются не в одном и том же месте, но все – своим пустым местом, или соответствующим объектом = x . <.....> Даже структуры лингвистики нельзя считать решающими символическими элементами, или означающими: именно в той мере, в какой другие структуры не довольствуются использованием по аналогии методов, заимствованных из лингвистики, но открывают для себя действительные, пусть даже невербальные языки, содержащие всегда свои означающие, свои символические элементы и дифференциальные отношения. Например, Фуко, поставивший проблему отношения этнографии–психоанализа, имел право говорить: «они пересекаются под прямым углом; ибо означающая цепь, которая создает уникальный опыт индивида, перпендикулярна формальной системе, на основе которой создаются значения культуры. В каждое мгновение собственная структура индивидуального опыта находит в системах общества некоторое число возможных выборов [и исключенных возможностей]; наоборот, социальные структуры находят в каждой своей точке выбора некоторое число возможных индивидов (и других, которые не являются таковыми)».

И в каждой структуре объект = x должен учесть: 1) способ, которым он подчиняет себе в своем порядке другие структурные порядки, так как последние вмешиваются тогда лишь в качестве измерений актуализации: 2) способ, которым он сам подчинен другим порядкам в их порядке [и вмешивается лишь в их собственную актуализацию]: 3) способ, которым все объекты = x и все структурные порядки сообщаются друг с другом, так как каждый порядок определяет направление пространства, где он является абсолютно первым: 4) условия, при которых в данный момент истории или в данном случае данное измерение, соответствующее данному порядку структуры, не развертывается для самого себя и остается послушным актуализации другого порядка (лакановское понятие «про-сроченности» здесь имело бы решающее значение).

7. последний критерий: от субъекта к практике

В одном смысле места заполнены и заняты реальными существами лишь в той мере, в какой структура «актуализирована». Но в другом смысле мы можем сказать, что места уже заполнены и заняты символическими элементами на уровне самой структуры; а порядок мест вообще определяют дифференциальные отношения этих элементов. Следовательно, до любого заполнения и любой вторичной оккупации реальными существами существует первичное символическое заполнение. Мы вновь находим парадокс пустой клетки: последняя – это единственное место, которое не может и не должно быть заполнено, пусть даже символическим элементом. Она должна хранить совершенство своей пустоты, чтобы перемещаться относительно себя и циркулировать, проходя через элементы и разнообразия отношений. Символическое должно быть своим собственным символом и вечно манкировать свою собственную половину, которая была бы способна занять пустоту. [Однако эта пустота не является

небытием или, по крайней мере, это небытие не является бытием негативного, это позитивное бытие «проблематики», объективное бытие проблемы и вопроса). Вот почему Фуко может сказать: «Возможно мыслить лишь в этой пустоте, где уже нет человека. Ибо эта *пустота не означает нехватку и не требует заполнить пробел*. Это лишь развертывание пространства, где, наконец, снова можно мыслить».

Если же пустое место не занято термином, оно тем не менее сопровождается – не будучи ни оккупированным, ни заполненным – в высшей степени символической инстанцией, которая следует за всеми его перемещениями. И двое, инстанция и место, не прекращают манкировать и таким образом сопровождать друг друга. **Субъект – это именно инстанция, которая следует за пустым местом**: как говорит Лакан, он является менее субъектом, нежели подчиненным–подчиненным пустой клетке, фаллосу и его перемещениям. Его ловкость бесподобна или должна быть таковой. Поэтому по сути **субъект является intersубъективным**. <.....> **Структурализм** вовсе не является мыслью, уничтожающей субъекта, но такой, которая крошит и систематически его распределяет, которая **оспаривает тождество субъекта, рассеивает его и заставляет переходить с места на место: его субъект всегда кочующий, он сделан из индивидуальностей, но внеперсональных, или из единичностей, но доиндивидуальных**. <.....>

Исходя из этого могут определиться две важные акциденции структуры. Или пустая клетка и двигатель более не сопровождаются кочующим субъектом, который подчеркивает их пробег; и пустота клетки становится лакуной, действительной нехваткой. Или наоборот, клетка заполнена, оккупирована тем, кто ее сопровождает, и ее подвижность теряется в результате оседлой, или замороженной, полноты. Также можно было бы сказать в терминах лингвистики, что то «означающее» исчезло, и поток означаемого не находит более означаемого элемента, который его скандирует, то «означаемое» рассеялось и цепь означаемого не находит более означаемого, которое по ней пробегает; два патологических аспекта психоза. Еще можно было бы сказать в теoантропологических терминах, что то Бог заставляет увеличиваться пустыни и роет в земле лакуну, то человек ее заполняет, он оккупирует место и в этой тщетной перестановке заставляет нас переходить от одной акциденции к другой: вот почему человек и Бог – это две болезни земли, то есть болезни структуры.

Важно знать, при каких условиях и в какие моменты эти акциденции определяются в структурах того или иного порядка. Рассмотрим снова анализ, проведенный Альтюссером и его сотрудниками: с одной стороны, они показывают, как в экономическом порядке на приключения пустой клетки [Стоимость как объект = x) накладывают отпечаток - товар, деньги, фетиш, капитал и т.д., – все, что характеризует капиталистическую структуру. С другой – они демонстрируют, каким образом в структуре рождаются противоречия. Наконец, как реальное и воображаемое, то есть реальные существа, занимающие места, и идеологии, выражающие создаваемый ими образ, четко определены игрой этих структурных приключений и противоречий, которые из них вытекают. Конечно, не то чтобы противоречия были воображаемыми: они являются подлинно структурными и определяют эффекты структуры в ее собственном внутреннем времени. Так не будем говорить о противоречии, что оно является видимым, но скажем, что оно производно: от пустого места и от своего становления в структуре. *Согласно общему правилу, реальное, воображаемое и их отношения всегда порождаются вторично благодаря функции структуры, которая начинается того, что имеет свои первичные результаты в себе самой*. Поэтому совсем не извне приходит в структуру то, что мы только что назвали акциденциями. Наоборот, речь идет об имманентной «тенденции». Речь идет об идеальных событиях, которые составляют часть самой структуры и символически принимают вид ее пустой клетки, или субъекта. Мы называем их «акциденциями», чтобы лучше отметить не случайный или внешний характер, а их характер весьма специального события внутри структуры, поскольку последняя никогда не сводится к простой сущности.

Отсюда в структурализме встает ансамбль сложных проблем, касающихся структурных «мутаций» (Фуко) или «форм перехода» от одной структуры к другой (Альтюссер). Всегда в зависимости от пустой клетки дифференциальные отношения приобретают новые зна-

чимости или вариации, а также единичности, пригодные для новых конститутивных распределений другой структуры. Вдобавок нужно, чтобы противоречия были «разрешены», то есть чтобы пустое место было освобождено от символических событий, которые его скрывают или заполняют, чтобы оно было отдано субъекту, который должен его сопровождать на новых дорогах, не занимая и не опустошая его. Поэтому существует структуралистский *герой*: ни Бог, ни человек, ни личный, ни универсальный, он – без тождества, сделанный из неперсональных индивидуальностей и до-индивидуальных единичностей. Он обеспечивает расщепление структуры, затронутой избытком или недостатком, он противопоставляет свое *собственное* идеальное событие тем идеальным событиям, которые мы только что определили. Пусть новой структуре свойственно не возобновлять приключения, аналогичные тем, что были со старой, не создавать вновь смертельные противоречия – это зависит от силы сопротивления и творчества данного героя, от его ловкости в следовании и сохранении перемещений, способности разнообразить отношения и перераспределять единичности и все еще продолжать бросать игральную кость. Эта точка мутации определяет именно праксис (*praxis*) или, скорее, само место, где праксис должен обосноваться. Ибо **структурализм неотделим не только от произведений, которые он создает, но и от практики (*pratique*) в отношении продуктов, которые он интерпретирует**. Пусть эта практика является терапевтической или политической – она означает пункт перманентной революции, или перманентного перемещения.

Эти последние критерии – **от субъекта к праксису** – являются самыми неясными, это критерии будущего. В шести предшествующих характеристиках мы хотели только собрать в систему то общее, что есть у весьма независимых друг от друга авторов, обращаясь при этом к совершенно разным областям. И также собрать теорию, которую предлагают сами авторы относительно этого общего. На различных уровнях структуры реальное и воображаемое, реальные существа и идеологии, смысл и противоречие являются «эффектами», которые следует понять в результате «процесса», собственно структурного различаемого производства: странный статический генезис для физических «эффектов» [оптических, звуковых и т.д.]. Книги против структурализма [или против нового романа] не имеют ровно никакого значения; они не могут помешать продуктивности структурализма, которая есть продуктивность нашего времени. Никакая книга *против* чего бы то ни было ничего не значит: **имеют значение только книги «за» что-то новое, книги, которые могут его создать**.

Жак Деррида

СТРУКТУРА, ЗНАК И ИГРА В ДИСКУРСЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК (1966)

(фрагменты)

Дело имеешь скорее с толкованием толкований, нежели с толкованием предметов. (Монтень)

Возможно, произошедшее в истории понятия структуры можно было бы назвать событием, не привнося это слово с собой тот смысловой заряд, свести который на нет или заставить в нем усомниться как раз и составляет функцию структурных – или структуралистских – требований. Скажем все же событие, осторожно взяв это слово в кавычки. Что же это тогда за событие? Внешне оно как будто принимает форму разрыва или удвоения.

Было бы нетрудно показать, что понятие структуры и даже само слово структура приходятся ровесниками эпистеме, то есть сразу и западной науке, и западной философии, уходя своими корнями в почву обыденного языка, в глубинах которого эпистема и готова их подхватить, дабы метафорическим смещением препроводить к себе. Тем не менее вплоть до того самого события, которое мне хотелось бы нащупать, **структура или, скорее, структурность структуры, хотя всегда и *задействованная*, всегда же оказывалась и *нейтрализованной*, сведенной на нет – путем придания ей центра, соотнесения ее с точкой присутствия, с фиксированным истоком**. В функции этого центра входило не только **ориентировать** или **уравновешивать, организовывать** структуру – на самом деле невозможно мыслить структуру неорга-

низованной, – но и, главным образом, добиться, чтобы принцип организации структуры положил предел тому, что можно было бы назвать ее игрой. Безусловно, центр структуры, ориентируя и организуя согласованность системы, позволяет и игру – люфт элементов внутри формы как целого. И сегодня еще структура, лишенная какого бы то ни было центра, представляется совершенно невыносимой.

Однако центр также и закрывает игру, которую сам открывает и делает возможной. В качестве центра он является той точкой, в которой подмена значений, элементов, терминов более не возможна. В центре перестановка или преобразование элементов (каковые могут, впрочем, оказаться и включенными в какую-то структуру структурами) заказаны. По крайней мере, всегда оставались запретными (я умышленно использую это слово). Тем самым всегда считалось, что центр, который по определению единственен, составляет в структуре как раз то, что, структурой управляя, от структурности ускользает. Вот почему в рамках классического осмысления структуры можно парадоксальным образом сказать, что центр и в структуре, и вне ее. Он находится в центре целокупности и, однако, поскольку центр в нее не включен, центр ее в ином месте. Центр – это не центр. Понятие централизованной структуры – хотя оно и представляет согласованность как таковую, условие эпистемологии как философии или науки – согласовано весьма противоречиво. И, как всегда, согласованность в противоречии выражает силу некоего желания. Понятие централизованной структуры является на самом деле понятием обоснованной игры, установленной на основе неподвижности и успокоительной, от игры уже избавленной, достоверности. Эта достоверность позволяет обуздать тревогу, всегда рождающуюся из определенной манеры быть в игру вовлеченным, быть игрою захваченным, словно бы уже изначально быть в игре на кону. Исходя из того, что мы, таким образом, зовем центром и чему, коли оно с равным успехом может быть и снаружи, и внутри, одинаково пристали имена начала и конца, архе или телос, оказывается, что повторения, подмены, преобразования, перестановки всегда включены в историю смысла, то есть просто историю, чей исток всегда можно пробудить (или предвосхитить ее конец) в форме присутствия. Вот почему можно, наверное, сказать, что движение всякой археологии, как и всякой эсхатологии, заодно с подобной редукцией структурности структуры и всегда пытается помыслить эту последнюю на основе полного и находящегося вне игры присутствия.

Если так оно и есть, вся история понятия структуры вплоть до того разрыва, о котором мы говорим, должна осмысляться как серия подмен одного центра другим, как цепочка следующих друг за другом определений центра. Центр последовательно и установленным образом получает различные формы или имена. История метафизики, как и история Запада, становится тогда историей этих метафор или метонимий. Матричной формой чему – да простится мне пренебрежение доказательствами и эллиптичность, просто я хочу поскорее перейти к своей основной теме – послужит, вероятно, определение бытия как присутствия во всех смыслах этого слова. Можно было бы показать, что все имена, относящиеся к основе, первопричине или же центру, всегда отсылают к определенному инварианту присутствия (эйдос, архе, телос, энергия, усия (сущность, существование, субстанция, субъект), алетейя, трансцендентальность, сознание, Бог, человек и т. д.).

Переломное событие, разрыв, на который я намекнул в самом начале, произошел, возможно, в тот момент, когда потребовалось приступить к осмыслению структурности структуры, то есть к ее повторению; вот почему я и сказал, что разрыв этот оказался во всех смыслах слова повторением. Отныне надлежало осмыслить закон, некоторым образом управляющий свойственным установлению структуры стремлением к центру, и процесс означивания, предписывающий свои смещения и подстановки этому закону центрального присутствия – такого, однако же, центрального присутствия, которое никогда самим собою не было, всегда оказываясь уже вытесненным из себя в свою подмену. Подмена не заменяет ничего, что ей бы в каком-то смысле пред-существовало. Отныне, конечно же, надлежало прийти к мысли, что центра просто нет, что центр не может быть помыслен в форме некоего присутствующего сущего, что центру нет естественного места, что он является не определенным местом, а функцией, в своем роде неуместностью, в которой до бесконечности разыгрываются подста-

новки знаков. И, значит, это момент, когда язык распространяется на все универсальное проблемное поле; это момент, когда **в отсутствие центра или истока все становится дискурсом** – если условиться по поводу этого слова, – то есть системой, в которой центральное, исходное или трансцендентальное означаемое абсолютно вне системы различий никогда не присутствует. **Отсутствие трансцендентального означаемого расширяет поле и игру означивания до бесконечности.**

Где и как проявляется в виде мысли о структурности структуры эта децентрация? Ссылаться для обозначения ее происхождения на какое-то событие, доктрину или имя автора было бы весьма наивно. Своим происхождением она обязана, конечно же, эпохе, нашей эпохе в целом, но при этом всегда уже успевала о себе заявить и заработать. Если все же угодно выбрать в качестве указателей несколько имен собственных и упомянуть авторов тех дискурсов, в которых она проявилась в своих наиболее радикальных формах, следовало бы, наверное, назвать ницшевскую критику метафизики, понятий бытия и истины, на место которых подставляются понятия игры, толкования и знака (знака без присутствия истины); фрейдовскую критику самоприсутствия, то есть сознания, субъекта, самотождественности, близости к – или соответствия – себе и, еще радикальнее, хайдеггеровскую деструкцию метафизики, онто-теологии, определения бытия как присутствия. Однако же все эти разрушительные дискурсы, равно как и все их аналоги, вписываются в своего рода круг, один и тот же. Круг, который описывает форму отношения между историей метафизики и деструкцией этой истории: чтобы поколебать метафизику, нет никакого смысла обходиться без метафизических понятий; мы не располагаем никаким языком – ни синтаксисом, ни лексикой, – чуждым этой истории; мы не можем высказать никакое деструктивное положение, которое бы уже с необходимостью не вкралось в форму, логику и неявное утверждение как раз того, что оно намеревалось оспорить. Возьмем из множества примеров всего один: именно с помощью понятия знака и поколеблена метафизика присутствия. Но стоит при этом, как я только что предлагал, захотеть показать, что нет никакого трансцендентального или привилегированного означаемого и что поле или игра означивания не имеют впредь никаких пределов, и следовало бы – но сделать это невозможно – отказаться уже и от понятия и самого слова **знак**. Ибо **значение знака всегда понималось и определялось в смысле знака чего-то, означающего, отсылающего к какому-то означаемому, означающего, отличного от своего означаемого. Стоит стереть коренное различие между означающим и означаемым, и как метафизическое понятие нужно будет отвергнуть уже само слово означающее.** <.....>

...есть **два совершенно разных способа стереть разницу между означающим и означаемым: один, классический, состоит в том, чтобы ограничить или сделать означающее производным, то есть, в конечном счете, подчинить знак мысли; другой, который мы выдвигаем здесь против предыдущего, состоит в постановке под вопрос всей системы, в которой функционирует предыдущая редукция, а прежде всего – противоположности чувственного и умопостижимого.** Ибо парадокс заключается в том, что метафизическая редукция знака нуждалась в редуцируемом ею противопоставлении. Противопоставление образует с редукцией систему. И то, что мы говорим здесь о знаке, можно распространить на все понятия и положения метафизики, в частности – на рассуждения о структуре. Но попасть в этот круг можно разными способами. Все они более или менее наивны, более или менее эмпиричны, более или менее систематичны, более или менее близки к формулировке, а то и формализации, этого круга. Эти различия и объясняют множественность деструктивных, разрушительных дискурсов и несогласие между теми, кто их ведет. Понятиями, унаследованными от метафизики, пользовались, например, Ницше, Фрейд и Хайдеггер. Поскольку же **понятия эти – отнюдь не элементы, не атомы, поскольку они включены в некоторые синтаксис и систему,** каждое конкретное заимствование привносит за собой всю метафизику. Что и позволяет этим разрушителям взаимно разрушать друг друга... <.....>

Что же происходит теперь с этой формальной схемой, когда мы обращаемся к так называемым гуманитарным наукам?

Одна из них, возможно, занимает здесь особое место. Это этнология. <.....>

Ведь этнология – как и любая наука – порождается в стихии определенного рассуждения, дискурса. И прежде всего это европейская наука, использующая, пусть даже и неохотно, традиционные понятия. В качестве следствия, хочет он того или нет – и этого не избыть волевым решением, – этнолог принимает в своем дискурсе предпосылки этноцентризма в тот же самый момент, когда его изобличает. Неустраняемая неизбежность, а отнюдь не историческое совпадение; следовало бы продумать все вытекающие отсюда следствия. Но если никто не может от этого уклониться, если никто тем самым не ответствен, что поддается, то это ни в коей мере не означает, будто все способы уступить в равной степени уместны. Качество и плодотворность дискурса измеряются, быть может, критической строгостью, с которой осмысливается это отношение к истории метафизики и унаследованным понятиям. Речь здесь идет о критическом отношении к языку гуманитарных наук и о критической ответственности дискурса. Речь идет о том, чтобы явно и систематически **ставить проблему статуса дискурса, заимствующего из наследия необходимые для де-конструкции самого же этого наследия ресурсы.** Проблему экономики и стратегии.

Коль скоро мы рассмотрим теперь в качестве примера тексты Клода Леви-Строса, то не только по причине привилегированного положения, занимаемого сегодня этнологией среди гуманитарных наук, и даже не потому, что речь идет о мысли, оказывающей весомое давление на современное состояние теории. Скорее уж потому, что в трудах Леви-Строса о себе заявляет определенный выбор, а в том, что касается критики языка и критического языка в гуманитарных науках, здесь как раз таки более или менее явным образом и разработана определенная доктрина.

Чтобы проследить это движение в тексте Леви-Строса, выберем из нескольких в качестве путеводной нити **оппозицию** природа/культура. Несмотря на все свои попытки омолодиться и притворные румяна, это – врожденное для философии противопоставление. Оно даже старше Платона и никак не моложе софистики. Со времен оппозиции фюсис/номос, фюсис/техне оно по исторической цепочке передает эстафету вплоть до нас, противопоставляя природу закону, установлению, искусству, технике, но также и свободе, произволу, истории, обществу, духу и т.д. И вот с самого начала своих изысканий и со своей первой книги (Элементарные структуры родства) Леви-Строс испытал сразу **и необходимость этой оппозицией воспользоваться, и невозможность на нее положиться.** В своих Структурах он исходит из следующей аксиомы или определения: к природе относится то, что универсально и стихийно и при этом не зависит ни от какой частной культуры или определенной нормы. К культуре взамен относится то, что зависит от системы норм, упорядочивающей общество и способной тем самым меняться от одной социальной структуры к другой. По своему типу эти два определения вполне традиционны. Однако с первых же страниц Структур Леви-Строс, который начал было поддерживать эти понятия, наталкивается на то, что сам называет **скандалом**, иначе говоря, на то, что уже не допускает так установленной оппозиции **природа/культура** и, похоже, **требует предикатов сразу и природы, и культуры.** Скандал этот – запрещение инцеста. Запрещение инцеста универсально, и в этом смысле его можно было бы назвать природным, – но оно также и запрещение, то есть система норм и запретов, – и в этом смысле его следует назвать культурным. Положим, таким образом, что все универсальное у человека относится к ведению природы и характеризуется стихийностью, все же подчиняющееся норме принадлежит культуре и являет признаки относительного и частного. Мы тогда сталкиваемся с фактом или, скорее, совокупностью фактов, которые в свете предыдущих определений могут показаться чем-то скандальным: ведь **запрещение инцеста без малейших двусмысленностей представляет неразрывно соединенными обе характеристики, в которых мы только что признали противоречивые признаки двух исключających друг друга порядков:** оно составляет правило, но, в отличие от всех других социальных правил, это правило обладает в то же время универсальным характером.

Скандал, очевидно, имеет место лишь внутри системы понятий, поддерживающей различие между природой и культурой. <.....>

Этот слишком бегло упомянутый пример – лишь один в ряду прочих, но и по нему видно, что язык несет в себе необходимость своей собственной критики. Критика же эта может вестись двумя путями, двумя способами. В момент, когда ощущается предел оппозиции природа/культура, может возникнуть желание систематически и неукоснительно **вопросить саму историю этих понятий**. Таков первый жест. <.....>

Иной выбор, призванный избежать возможного бесплодия первого жеста – и я полагаю, что он скорее соответствует манере Леви-Строса, – состоит в том, чтобы **сохранить, повсеместно выявляя в строе эмпирического открытия их пределы, все эти старые понятия – в качестве орудий, которые могут еще послужить**. Им больше не приписывают никакой истинности, никакого строгого значения; от них готовы отказаться, если более удачными покажутся другие орудия. А пока извлекают выгоду из их относительной действенности и используют их для того, чтобы разрушить старинный механизм, к которому они относятся и частью которого сами же и являются. <.....>

С другой стороны, все в той же Дикой мысли Леви-Строс представляет под именем бриколажа то, что можно было бы назвать дискурсом, или рассуждением, об этом методе. Бриколер, говорит он, это тот, кто пользуется подручными средствами, то есть инструментами, которые он находит в своем распоряжении вокруг себя, которые уже тут, которые не были специально задуманы ради операции, для коей их заставляют служить и к каковой их методом проб и ошибок пытаются приспособить, без колебания меняя всякий раз, когда это покажется необходимым, пробуя по несколько сразу, даже если происхождение и форма их предельно разнородны, и т.п. В форме бриколажа тем самым присутствует критика языка... <.....>

Если называть бриколажем необходимость заимствовать понятия из более или менее связанного или разрушенного текстового наследия, окажется, что бриколером является любой дискурс. Противопоставляемый Леви-Стросом бриколеру изобретатель, инженер должен был бы целиком построить весь свой язык, и синтаксис, и лексику. В этом смысле инженер – это миф: субъект, ставший абсолютным источником своего собственного дискурса, построивший его целиком и полностью, был бы творцом глагола, самим глаголом. Представление об инженере, порвавшем со всяким бриколажем, есть, стало быть, представление теологическое; а так как Леви-Строс говорит нам в другом месте, что бриколаж мифопоэтичен, можно поручиться, что инженер – миф, порожденный бриколером. Стоит усомниться в таком инженере и в таком порывающем с историческим восприятием дискурсе, стоит принять, что всякий законченный дискурс подчинен определенному бриколажу, а инженер или ученый тоже суть своего рода бриколеры, и тут же под угрозой оказывается сама идея бриколажа, распадается наделявшее ее смыслом различие.

<.....>

Достижение целостности можно посчитать невозможным в классическом стиле: представив себе эмпирическое усилие субъекта или конечного дискурса, тщетно растрачиваемое им на бесконечное богатство, совладать с которым он никогда не сможет. Имеется избыток, имеется больше, чем можешь сказать. Но можно определить несводимость к целостности и по-другому: уже не под знаком приписанного к эмпиризму понятия конечности, а **под знаком игры**. Итог тогда не имеет более смысла уже не из-за того, что бесконечность какого-то поля не может быть охвачена конечным взглядом или конечным дискурсом, а потому, что **природа этого поля – то есть язык, притом конечный – исключает итоговую целостность: это поле на самом деле – поле игры, то есть бесконечных подстановок в замкнутости некоего конечного множества**. Это поле позволяет подобные бесконечные подстановки только потому, что оно конечно, то есть вместо того, чтобы быть, как в рамках классической гипотезы, неисчерпаемым, вместо того, чтобы быть слишком большим, ему чего-то не хватает, а именно – центра, который останавливает и обосновывает игру подстановок. Можно сказать, со всей строгостью пользуясь словом, скандальное значение которого во французском языке постоянно

стирается, что это движение игры, дозволяемое нехваткой, отсутствием центра или истока, есть движение вос-полнительности. Нельзя определить центр и исчерпать итоговую целостность, поскольку знак, который замещает центр, который его восполняет, занимает в его отсутствие его место, знак этот добавляется, приходит до-полнительно, в вос-полнение. Движение означивания что-то добавляет, благодаря чему всегда и имеешь больше, но это прибавление неустойчиво, поскольку стремится компенсировать, восполнить нехватку со стороны означаемого. <.....>

Вместе с напряженностью между игрой и историей, напряженность имеется также и между игрой и присутствием. Игра – это разрыв присутствия. Присутствие того или иного элемента является значащей и возмещающей отсылкой, вписанной в систему различий и движение по цепочке. Игра – всегда игра отсутствия и присутствия, но если мы хотим осмыслить ее в корне, надо мыслить ее прежде самой их альтернативы; надо мыслить бытие как присутствие или отсутствие, исходя из самой возможности игры, а не наоборот. <.....>

Обращенная к утерянному или невозможному присутствию отсутствующего истока, эта структуралистская тематика порванной непосредственности является посему печальной, негативной, ностальгической, исполненной вины, руссоистской гранью мысли об игре, чьей другой стороной представляется ницшевское утверждение, радостное утверждение игры мира и невинности становления, утверждение мира безупречных – без истины, без истока – знаков, открытого активной интерпретации. Это утверждение определяет тогда ацентричность иначе, нежели как утрату центра. И играет, ничего не опасаясь. Ибо игра тут надежна, она ограничивается подстановкой частей данных и существующих, присутствующих. В абсолютной случайности утверждение подчиняется также и наследственной неопределенности, семенному приключению следа.

Итак, имеются две интерпретации интерпретации, структуры, знака и игры. Одна стремится расшифровать, мечтает расшифровать истину или ускользающий от игры и строя знака исток и переживает необходимость интерпретации как изгнание. Другая, которая уже не обращена к истоку, утверждает игру и пытается выйти по ту сторону человека и гуманизма, поскольку имя человека – имя того существа, которое на протяжении истории метафизики или онтологической, иначе говоря – всей своей истории, грезило о полном присутствии, внушающем доверие основанию, истоке и конце игры. Эта вторая интерпретация интерпретации, путь которой указал нам Ницше, не ищет в этнографии, как того хотел Леви-Строс... вдохновительницу нового гуманизма.

Сегодня по многим признакам заметно, что эти две интерпретации интерпретации – которые абсолютно несовместимы, даже если мы переживаем их совместно и примиряем в некоей смутной экономике – делят между собой поле того, что столь проблематично называют гуманитарными науками.

Со своей стороны я не думаю, хотя эти две интерпретации не могут не обнаруживать свое различие и не заострять взаимную несводимость, что сегодня надлежит выбирать. Прежде всего потому, что мы пребываем здесь в той области – скажем, по-прежнему предварительно, историчности, – где категория выбора кажется весьма легковесной. Далее, поскольку прежде всего надо попытаться осмыслить общую почву и различие этого неустранимого различия. И поскольку перед нами тут тип вопроса, скажем опять же, исторического, чье зачатие, формирование, вынашивание и рождение мы можем сегодня лишь смутно провидеть. И я произношу эти слова с оглядкой на стадии деторождения, но также и на тех, кто в обществе, из которого я себя не исключаю, отводит глаза перед заявляющим о себе безымянным еще, способным на это, как и должно быть всякий раз, когда дело идет о рождении, лишь под видом безвидного, в бесформенной, немой, инфантильной и пугающей форме уродства.